



אשכולות
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

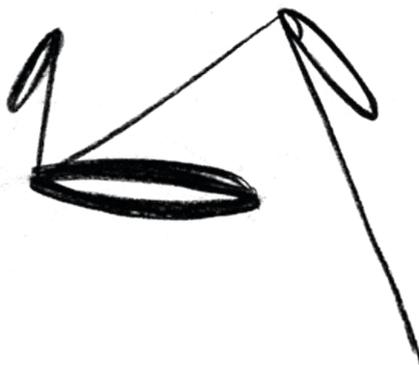


GENESIS
PHILANTHROPY
GROUP



СПРЯТАННАЯ ПРИТЧА

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ КАФКИ



Источники к курсу
Ури Гершовича и Александры Полян

Москва
январь 2019 г.
проект "Эшколот"
www.eshkolot.ru

Первое занятие

О притчах

Многие сетуют на то, что слова мудрецов – это каждый раз всего лишь притчи, но неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит: «Перейди туда», – он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каковой еще можно выполнить, если результат стоит того, нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее и он не в силах и которое здесь нам, стало быть, ничем не может помочь. Все эти притчи только и означают, в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако, совсем над другим.

В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий».

Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча».

Первый сказал: «Ты выиграл».

Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче».

Первый сказал: «Нет, в действительности; в притче ты проиграл».

год: 1922

перевод: С. Апта

Басенка

– Ах, – сказала мышь, – мир становится тесней с каждым днем. Сначала он был так широк, что мне делалось страшно, я

Von den Gleichnissen

Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: "Gehe hinüber," so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinüber gehen sollte, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge. Darauf sagte einer: "Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei." Ein anderer sagte: "Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist." Der erste sagte: "Du hast gewonnen." Der zweite sagte: "Aber leider nur im Gleichnis." Der erste sagte: "Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren."

Kleine Fabel

«Ах», sagte die Maus, «Die Welt wird immer enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief

бежала дальше и была счастлива, что наконец вижу вдали стены справа и слева, но эти длинные стены так спешат сойтись, что я уже в последней комнате, а там в углу стоит ловушка, куда я ужогу.

– Тебе надо только изменить направление, – сказала кошка и съела ее.

год: 1920

перевод: С.Апта

Волчок

Некий философ вечно бродил там, где играли дети. Увидит мальчика с волчком и насторожится. Едва волчок начнет вертеться, как философ преследует его и силится поймать. Ему было все равно, что дети шумели вокруг него и старались не допустить до их игрушки, и если ему удавалось поймать волчок, пока он вертелся, он был счастлив, но лишь одно мгновенье, затем бросал его наземь и уходил. Он верил, будто достаточно познать любую малость, следовательно и вертящийся волчок, чтобы познать всеобщее. Поэтому он и не занимался большими проблемами, это казалось ему неэкономным. Если же действительно познать мельчайшую малость, то познаешь все, оттого он и интересовался лишь вертящимся волчком. Когда он видел приготовления к запуску волчка, он неизменно начинал надеяться, что теперь-то его наконец ждет удача, а если волчок уже вертелся и он, задыхаясь, бежал за ним, надежда превращалась в уверенность, но когда он наконец держал в руках глупую деревянную вертушку, ему становилось тошно, и крик детей, которого он до сих пор просто не слышал,

weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.»

«Du mußt nur die Laufrichtung ändern», sagte die Katze und fraß sie.

Der Kreisel

Ein Philosoph trieb sich immer dort herum, wo Kinder spielten. Und sah er einen Jungen, der einen Kreisel hatte, so lauerte er schon. Kaum war der Kreisel in Drehung, verfolgte ihn der Philosoph, um ihn zu fangen. Dass die Kinder lärmten und ihn von ihrem Spielzeug abzuhalten suchten, kümmerte ihn nicht, hatte er den Kreisel, solange er sich noch drehte, gefangen, war er glücklich, aber nur einen Augenblick, dann warf er ihn zu Boden und ging fort. Er glaubte nämlich, die Erkenntnis jeder Kleinigkeit, also zum Beispiel auch eines sich drehenden Kreisels, genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen. Darum beschäftigte er sich nicht mit den großen Problemen, das schien ihm unökonomisch. War die kleinste Kleinigkeit wirklich erkannt, dann war alles erkannt, deshalb beschäftigte er sich nur mit dem sich drehenden Kreisel. Und immer wenn die Vorbereitungen zum Drehen des Kreisels gemacht wurden, hatte er Hoffnung, nun werde es gelingen, und drehte sich der Kreisel, wurde ihm im atemlosen Laufen nach ihm die Hoffnung zur Gewissheit, hielt er aber dann das dumme Holzstück in der Hand, wurde ihm übel und das Geschrei der Kinder, das er bisher nicht

оглушал его, гнал его прочь, и он уходил, пошатываясь, как волчок от неловких толчков погонялки.

год: 1920

перевод: В. Станевич

Мост

Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, а по ту сторону – руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды моего сюртука болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом.

Это случилось как-то под вечер – был ли то первый, был ли то тысячный вечер, не знаю: мои мысли шли всегда беспорядочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал глуше, и тут я услышал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто тебе доверился. Неверность его походки смягчи незаметно, но, если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как некий горный бог, швырни его на ту сторону.

Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука. Он погрузил наконечник в мои взъерошенные волосы и долго не вынимал его оттуда, по-видимому дико озираясь по сторонам. А потом – я как раз уносил

gehört hatte und das ihm jetzt plötzlich in die Ohren fuhr, jagte ihn fort, er taumelte wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche.

Die Brücke

Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich, diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in bröckelndem Lehm hatte ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe, die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. So lag ich und wartete; ich mußte warten; ohne abzustürzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören Brücke zu sein. Einmal gegen Abend, war es der erste, war es der tausendste, ich weiß nicht, meine Gedanken giengen immer in einem Wirrwarr, und immer immer in der Runde – gegen Abend im Sommer, dunkler rauschte der Bach, hörte ich einen Mannesschritt. Zu mir, zu mir. Strecke Dich Brücke, setze Dich in Stand, geländloser Balken, halte den Dir Anvertrauten, die Unsicherheiten seines Schrittes gleiche unmerklich aus, schwankt er aber, dann gib Dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ans Land. Er kam, mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich, dann hob er mit ihr meine Rockschoße und ordnete sie auf mir, in mein buschiges Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich weit umherblickend, lange drin liegen. Dann aber – gerade träumte ich ihm über Berg und Tal – sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den Leib. Ich erschauerte in

ся за ним в мечтах за горы и доли – он прыгнул обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой боли, в полном неведении. Кто это был? Ребенок? Видение? Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже рухнул. Я рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды.

год: 1916-1917

перевод: С. Апта

Комментарий (не надейся!)

Было очень раннее утро, улицы были чисты и пустынные, я шел на вокзал. Сверив свои часы с башенными, я увидел, что время сейчас гораздо более позднее, чем я думал, мне нужно было очень спешить, ужас от этого открытия сделал меня неуверенным в пути, я еще неважно ориентировался в этом городе, к счастью, поблизости оказался полицейский, я подбежал к нему и, запыхавшись, спросил, как пройти на вокзал. Он улыбнулся и сказал: – У меня ты хочешь узнать дорогу?

– Да, – сказал я, – потому что сам не могу найти ее.

– Не надейся, не надейся! – сказал он и размашисто отвернулся, как это делают люди, которые хотят быть наедине со своим смехом.

год: 1922

перевод: С. Апта

wildem Schmerz, gänzlich unwissend. Wer war es? Ein Kind? Ein Turner? Ein Waghalsiger? Ein Selbstmörder? Ein Versucher? Ein Vernichter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. Brücke dreht sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon, ich stürzte und war schon zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieselsteinen, die mich so friedlich immer angestarrt hatten aus dem rasenden Wasser.

Gibs auf!

Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: "Von mir willst du den Weg erfahren?" "Ja", sagte ich, "da ich ihn selbst nicht finden kann." "Gibs auf, gibbs auf", sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.

Второе занятие

Посейдон

Посейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. Управление всеми водами стоило бесконечных трудов. Он мог бы иметь сколько угодно вспомогательной рабочей силы, у него и было множество сотрудников, но, полагая, что его место очень ответственное, он сам вторично проверял все расчеты, и тут сотрудники мало чем могли ему помочь. Нельзя сказать, чтобы работа доставляла ему радость, он выполнял ее, по правде говоря, только потому, что она была возложена на него, и, нужно признаться, частенько старался получить, как он выражался, более веселую должность; но всякий раз, когда ему предлагали другую, оказывалось, что именно теперешнее место ему подходит больше всего. Да и очень трудно было подыскать что-нибудь другое, нельзя же прикрепить его к одному определенному морю; помимо того, счетная работа была бы здесь не меньше, а только мизернее, да и к тому же великий Посейдон мог занимать лишь руководящий пост. А если ему предлагали место не в воде, то от одной мысли об этом его начинало тошнить, божественное дыхание становилось неровным, бронзовая грудная клетка порывисто вздымалась. Впрочем, к его недугам относились не очень серьезно; когда вас изводит сильный мира сего, нужно даже в самом безнадежном случае притвориться, будто уступаешь ему; разумеется, о действительном снятии Посейдона с его поста никто и не помышлял, спокон веков его предназначили быть богом морей, и тут уже ничего не поделаешь.

Poseidon

Poseidon saß an seinem Arbeitstisch und rechnete. Die Verwaltung aller Gewässer gab ihm unendliche Arbeit. Er hätte Hilfskräfte haben können, wie viel er wollte, und er hatte auch sehr viele, aber da er sein Amt sehr ernst nahm, rechnete er alles noch einmal durch und so halfen ihm die Hilfskräfte wenig. Man kann nicht sagen, daß ihn die Arbeit freute, er führte sie eigentlich nur aus, weil sie ihm auferlegt war, ja er hatte sich schon oft um fröhlichere Arbeit, wie er sich ausdrückte, beworben, aber immer, wenn man ihm dann verschiedene Vorschläge machte, zeigte es sich, daß ihm doch nichts so zusagte, wie sein bisheriges Amt. Es war auch sehr schwer, etwas anderes für ihn zu finden. Man konnte ihm doch unmöglich etwa ein bestimmtes Meer zuweisen; abgesehen davon, daß auch hier die rechnerische Arbeit nicht kleiner, sondern nur kleinlicher war, konnte der große Poseidon doch immer nur eine beherrschende Stellung bekommen. Und bot man ihm eine Stellung außerhalb des Wassers an, wurde ihm schon von der Vorstellung übel, sein göttlicher Atem geriet in Unordnung, sein eherner Brustkorb schwankte. Übrigens nahm man seine Beschwerden nicht eigentlich ernst; wenn ein Mächtiger quält, muß man ihm auch in der aussichtslosesten Angelegenheit scheinbar nachzugeben versuchen; an eine wirkliche Enthebung Poseidons von seinem Amte dachte niemand, seit Urbeginn war er zum Gott der Meere bestimmt worden und dabei mußte es bleiben.

Am meisten ärgerte er sich – und dies verursachte hauptsächlich seine Unzufrie-

Больше всего он сердился – и в этом крылась главная причина его недовольства своей должностью, – когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине мирового океана, и занимается расчетами; время от времени он ездит в гости к Юпитеру, и это – единственное развлечение в его однообразной жизни, хотя чаще всего он возвращается из таких поездок взбешенный. Таким образом, он морей почти не видел, разве только во время поспешного восхождения на Олимп, и никогда по-настоящему не разъезжал по ним. Обычно он заявляет, что подождет с этим до конца света; тогда, вероятно, найдется спокойная минутка, и уже перед самым-самым концом, после проверки последнего расчета, можно будет быстренько проехать вокруг света.

год: 1920

перевод: В. Станевич

Правда о Санчо Пансе

Занимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта – а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса – никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности хладнокровно сопровождал

денheit mit dem Amte – wenn er von den Vorstellungen hörte, die man sich von ihm machte, wie er etwa immerfort mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiere. Unterdessen daß er hier in der Tiefe des Weltmeeres und rechnete ununterbrochen, hie und da eine Reise zum Jupiter war die einzige Unterbrechung der Eintönigkeit, eine Reise übrigens, von der er meistens wütend zurückkehrte. So hatte er die Meere kaum gesehen, nur flüchtig beim eiligen Aufstieg zum Olymp, und niemals wirklich durchfahren. Er pflegte zu sagen, er warte damit bis zum nächsten Weltuntergang, dann werde sich wohl noch ein stiller Augenblick ergeben, wo er knapp vor dem Ende nach Durchsicht der letzten Rechnung noch schnell eine kleine Rundfahrt werden machen können.

Die Wahrheit über Sancho Pansa

Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den Abend- und Nachtstunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, dass dieser dann haltlos die verrücktesten Taten ausführte, die aber mangels eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Pansa hätte sein sollen, niemandem schaden. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote auf seinen

Дон Кихота в его странствиях, до конца его дней находя в этом увлекательное и полезное занятие.

год: 1917

перевод: С. Апта

Молчание сирен

Доказательство того, что и недостаточные, даже ребяческие средства могут послужить для спасения.

Чтобы уберечься от сирен, Одиссей заткнул себе воском уши и велел приковать себя к мачте. Подобным образом могли, конечно, испокон веков поступать все путешественники, кроме тех, кого сирены заманивали уже издали, но во всем мире было известно, что это нисколько не помогает. Пение сирен пронизывало все, и страсть соблазненных смахнула бы и не такие помехи, как цепи и мачта. Но об этом Одиссей не думал, хотя он, может быть, и слышал об этом, Он целиком положился на горсть воска и оковы и, невинно радуясь своему ухищрению, плыл сиренам навстречу.

Но у сирен есть оружие более страшное, чем пение, а именно – молчание. Хотя этого не случалось, но можно представить себе, что от их пения кто-то и спасся, но уж от их молчания наверняка не спасся никто. Чувству, что ты победил их собственными силами, и, как следствие этого, безудержной заносчивости не может сопротивляться ничто на земле.

И действительно, когда Одиссей приближался, эти могучие певички не пели, то ли они полагали, что такого противника можно одолеть только молчанием, то ли выражение блаженства на лице Одис-

Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende.

Das Schweigen der Sirenen

Beweis dessen, daß auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können:

Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Ähnliches hätten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in der ganzen Welt bekannt, daß dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen durchdrang alles, und die Leidenschaft der Verführten hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte Odysseus nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er vertraute vollständig der Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger Freude über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen.

Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, daß sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor ihrem Schweigen gewiß nicht. Dem Gefühl aus eigener Kraft sie besiegt zu haben, der daraus folgenden alles fortreibenden Überhebung kann nichts Irdisches widerstehen.

Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen nicht, sei es, daß sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das Schweigen beikommen, sei es,

сея, который ни о чем другом, кроме цепей и воска, не думал, заставило их забыть о всяком пении.

А Одиссей, если можно так выразиться, не слышал их молчания, он полагал, что они поют и только слух его защищен. Сперва он увидел было повороты их шей, их глубокое дыхание, их полные слез глаза, их полуоткрытые рты, но решил, что все это связано с ариями, которые неслышно звучат вокруг него. А вскоре все это отскользнуло от его направленного вдаль взгляда, сирены истине исчезли из-за его решительности, и как раз тогда, когда он был ближе всего к ним, он уже не помнил о них.

Они же – прекраснее, чем когда-либо, – вытягивались и вертелись, распускали по ветру свои страшные волосы и растопыривали выпущенные когти на скалах. Им уже не хотелось соблазнять, им хотелось только как можно дольше ловить отблеск больших глаз Одиссея.

Если бы у сирен было сознание, они были бы тогда уничтожены. А так они остались, только Одиссей ушел от них.

Есть, впрочем, одно добавление к преданию. Одиссей, говорят, был так хитроумен, так изворотлив, что сама богиня судьбы не могла проникнуть в его душу. Может быть, он, хотя человеческим умом этого не понять, действительно заметил, что сирены молчали, и только до некоторой степени корил их и богов за то мнимое пение.

год: 1917

перевод: С. Апта

daß der Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs und Ketten dachte, sie allen Gesang vergessen ließ.

Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht, er glaubte, sie sängen, und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklungen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen am nächsten war, wußte er nichts mehr von ihnen.

Sie aber – schöner als jemals – streckten und drehten sich, ließen das schaurige Haar offen im Winde wehen und spannten die Krallen frei auf den Felsen. Sie wollten nicht mehr verführen, nur noch den Abglanz vom großen Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erhaschen.

Hätten die Sirenen Bewußtsein, sie wären damals vernichtet worden. So aber blieben sie, nur Odysseus ist ihnen entgangen.

Es wird übrigens noch ein Anhang hierzu überliefert. Odysseus, sagt man, war so listenreich, war ein solcher Fuchs, daß selbst die Schicksalsgöttin nicht in sein Innerstes dringen konnte. Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu begreifen ist, wirklich gemerkt, daß die Sirenen schwiegen, und hat ihnen und den Göttern den obigen Scheinvorgang nur gewissermaßen als Schild entgegengehalten.

Прометей

О Прометее существует четыре предания. По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень, по мере того как она росла.

По второму, истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли – боги забыли, орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому.

год: 1918

перевод: С. Апта

Коршун

Это был коршун, он долбил мне клювом ноги. Башмаки и чулки он уже изорвал, а теперь клевал голые ноги. Долбил неумолимо, потом несколько раз беспокойно облетал вокруг меня и снова продолжал свою работу. Мимо проходил какой-то господин, он минутку наблюдал, потом спросил, почему я это терплю.

– Я же беззащитен, – отозвался я. – Птица прилетела и начала клевать, я, конечно, старался ее отогнать, пытался даже задушить, но ведь такая тварь очень сильна. Коршун уже хотел наброситься на мое

Prometheus

Von Prometheus berichten vier Sagen: Nach der ersten wurde er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet, und die Götter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber fraßen.

Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde.

Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen, die Götter vergaßen, die Adler, er selbst.

Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen müde. Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloß sich müde.

Blieb das unerklärliche Felsgebirge. – Die Sage versucht das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muß sie wieder im Unerklärlichen enden.

Der Geier

Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Füße selbst. Immer schlug er zu, flog dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr vorüber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich den Geier dulde. "Ich bin ja wehrlos," sagte ich, "er kam und fing zu hacken an, da wollte ich ihn natürlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte, auch wollte er mir schon ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Füße. Nun sind sie schon fast

лицо, и я предпочел пожертвовать ногами. Сейчас они почти растерзаны.

– Зачем же вам терпеть эту муку? – сказал господин. – Достаточно одного выстрела – и коршуну конец.

– Только и всего? – спросил я. – Может быть, вы застрелите его?

– Охотно, – ответил господин. – Но мне нужно сходить домой и принести ружье. А вы в состоянии потерпеть еще полчаса?

– Ну, не знаю, – ответил я и постоял несколько мгновений неподвижно, словно оцепенев от боли, потом сказал: – Пожалуйста, сходите. Во всяком случае, надо попытаться...

– Хорошо, – согласился господин, – потоплюсь...

Во время этого разговора коршун спокойно слушал и смотрел то на меня, то на господина. Тут я увидел, что он все понял; он взлетел, потом резко откинулся назад, чтобы сильнее размахнуться, и, словно метальщик копья, глубоко всадил мне в рот свой клюв. Падая навзничь, я почувствовал, что свободен и что в моей крови, залившей все глубины и затопившей все берега, коршун безвозвратно захлебнулся.

год: 1920

перевод: В. Станевич

zerrissen. "Daß Sie sich so quälen lassen," sagte der Herr, "ein Schuß und der Geier ist erledigt." "Ist das so?" fragte ich, "und wollen Sie das besorgen?" "Gern," sagte der Herr, "ich muß nur nach Hause gehen und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten?" "Das weiß ich nicht" sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz, dann sagte ich: "Bitte, versuchen Sie es für jeden Fall." "Gut," sagte der Herr, "ich werde mich beeilen." Der Geier hatte während des Gespräches ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, daß er alles verstanden hatte, er flog auf, weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er in meinem alle Tiefen füllenden, alle Ufer überfließendem Blut unrettbar ertrank.

Третье занятие

Обыкновенная история

Обыкновенная история: вынести ее – обыкновенный героизм. А. должен заключить с Б. важную сделку. Он отправляется для предварительного собеседования в Г., проделывает путь туда и обратно за десять минут в один конец и хвастается дома этой особенной скоростью. На следующий день он снова отправляется в Г., на сей раз для окончательного заключения сделки. Поскольку на это потребуется предположительно много часов, А. отправляется ранним утром. Хотя все побочные обстоятельства, по крайней мере по мнению А., совершенно таковы же, как накануне, на дорогу в Г. у него уходит на этот раз десять часов. Когда он, усталый, прибывает туда вечером, ему говорят, что Б., рассердившись из-за отсутствия А., полчаса назад отправился в свою деревню и они, собственно, должны были встретиться на дороге. А. советуют подождать, но А., в страхе за сделку, тотчас же уходит и спешит домой.

На сей раз он проделывает обычный путь, не обращая на это особого внимания, прямо-таки в одно мгновение. Дома он узнает, что Б. ведь приходил уже рано утром – сразу после ухода А.; он даже встретил А. в дверях, напомнил ему о сделке, но А. сказал, что ему сейчас некогда, что он сейчас куда-то спешит.

Но несмотря на это непонятное поведение А., Б. остался здесь, чтобы подождать А. Он, правда, уже не раз спрашивал, не вернулся ли А., но еще находился наверху, в комнате А. Радуюсь, что сможет

Eine alltägliche Verwirrung

Ein alltäglicher Vorfall: sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je zehn Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H, diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluß. Da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A sehr früh morgens fort. Obwohl aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A's Meinung, völlig die gleichen sind wie im Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H zehn Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, daß B, ärgerlich wegen A's Ausbleiben, vor einer halben Stunde zu A in sein Dorf gegangen sei und sie sich eigentlich unterwegs hätten treffen müssen. Man rät A zu warten. A aber, in Angst wegen des Geschäftes, macht sich sofort auf und eilt nach Hause.

Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er, B sei doch schon gleich früh gekommen – gleich nach dem Weggang A's; ja, er habe A im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert, aber A habe gesagt, er hätte jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eilig fort.

Trotz diesem unverständlichen Verhalten A's sei aber B doch hier geblieben, um auf A zu warten. Er habe zwar schon oft gefragt, ob A nicht schon wieder zurück sei, befinde sich aber noch oben in A's Zimmer. Glücklicherweise, B jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A

наконец поговорить с Б. и все объяснить ему, А. бежит вверх по лестнице. Он уже почти наверху, как вдруг спотыкается, растягивает себе сухожилие и, от боли теряя сознание, не в силах даже кричать, лишь скуля в темноте, он слышит, как Б. – непонятно, вдалеке или совсем рядом с ним – с яростным топотом сбегает по лестнице и окончательно исчезает.

год: 1917

перевод: С. Апта

Воззвание

В нашем доме, в этом чудовищном доме в предместье, густонаселенной громадине, проросшей неистребимыми средневековыми руинами, сегодня, туманным ледяным зимним утром, было распространено следующее воззвание:

«Всем моим соседям по дому.

У меня есть пять детских ружей. Они висят у меня в шкафу, на каждом крючке по одному. Первое принадлежит мне, заявку на другие может подать кто пожелает. Если заявок окажется больше чем четыре, лишние должны будут принести свои собственные ружья и сложить их в моем шкафу. Ибо нужно единообразие, без единообразия мы вперед не продвинемся. Кстати сказать, все мои ружья ни для чего прочего не пригодны, механизм испорчен, затычка оторвана, только курки еще щелкают. Нетрудно будет, значит, добыть, если понадобится, добавочные ружья. Но, в сущности, на первое время мне подойдет и люди без ружей. В решающий миг мы, обладающие ружьями, поместим невооруженных в середине. Эта тактика оправдала себя в войне пер-

die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben, da stolpert er, erleidet eine Sehnenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkel hört er, wie B – undeutlich ob in großer Ferne oder knapp neben ihm – wütend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet.

Der Aufruf / An alle meine Hausgenossen

In unserm Haus, diesem ungeheuern Vorstadthaus, einer von unzerstörbaren mittelalterlichen Ruinen durchwachsenen Mietskaserne, wurde heute am nebligen eisigen Wintermorgen folgender Aufruf verbreitet.

An alle meine Hausgenossen.

Ich besitze fünf Kindergewehre, sie hängen in meinem Kasten, an jedem Haken eines. Das erste gehört mir, zu den andern kann sich melden wer will, melden sich mehr als vier, so müssen die überzähligen ihre eigenen Gewehre mitbringen und in meinem Kasten deponieren. Denn Einheitlichkeit muss sein, ohne Einheitlichkeit kommen wir nicht vorwärts. Übrigens habe ich nur Gewehre, die zu sonstiger Verwendung ganz unbrauchbar sind, der Mechanismus ist verdorben, der Pfropfen abgerissen, nur die Hähne knacken noch. Es wird also nicht schwer sein, nötigenfalls noch weitere solche Gewehre zu beschaffen. Aber im Grunde sind mir für die erste Zeit auch Leute ohne Gewehre recht, wir die wir Gewehre haben, werden im entscheidenden Augenblick die Unbewaffneten in die Mitte nehmen. Eine Kampfesweise die sich bei den

вых американских фермеров против индейцев, почему же ей не оправдать себя и здесь, ведь обстоятельства сходны. Можно, значит, на какой-то срок вообще отказаться от ружей, и даже эти пять ружей нужны не обязательно, но раз уж они налицо, их следует применить. Если же четверо других не захотят носить их, то пусть и не носят. Тогда я один, как вождь, буду носить ружье. Но у нас не должно быть вождя, поэтому я свое ружье сломаю или спрячу».

Это было первое воззвание. В нашем доме ни у кого нет ни времени, ни охоты читать возвания, а тем более обдумывать. Вскоре мелкие клочки бумаги плавали в потоке грязи, который идет с чердака, получает пополнение из всех коридоров, стекает по лестнице и там борется с встречным потоком, накатывающим снизу. Но через неделю появилось второе воззвание:

«Соседи по дому!

Никто до сих пор ко мне не являлся. Я непрерывно, отлучаясь лишь из-за необходимости зарабатывать на жизнь, находилась дома, а в мое отсутствие, во время которого дверь моей комнаты всегда оставалась открытой, на столе у меня лежал листок, где мог записаться каждый желающий. Никто этого не сделал».

год: 1917

перевод: С. Апта

Отклоненное ходатайство

Наш городок лежит не у границы, какое там! До нее так далеко, что, пожалуй, никто из нашего городка там и не был, от границы нас отделяют голые горы, но

ersten amerikanischen Farmern gegenüber den Indianern bewährt hat, warum sollte sie sich nicht auch hier bewähren, da doch die Verhältnisse ähnlich sind. Man kann also sogar für die Dauer auf die Gewehre verzichten. Und selbst die fünf Gewehre sind nicht unbedingt nötig und nur weil sie schon einmal vorhanden sind, sollen sie auch verwendet werden. Wollen sie aber die vier andern nicht tragen so sollen sie es bleiben lassen. Dann werde also ich allein als Führer eines tragen. Aber wir sollen keinen Führer haben und so werde auch ich mein Gewehr zerbrechen oder weglegen.

Das war der erste Aufruf. In unserm Haus hat man keine Zeit und Lust Aufrufe zu lesen oder gar zu überdenken. Bald schwammen die kleinen Papiere in dem Schmutzstrom der vom Dachboden ausgehend, von allen Korridoren genährt, die Treppe hinabspült und dort mit dem Gegenstrom kämpft der von unten hinaufschwillt. Aber nach einer Woche kam ein zweiter Aufruf.

Hausgenossen!

Es hat sich bisher niemand bei mir gemeldet. Ich war, soweit ich nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muss, fortwährend zuhause und für die Zeit meiner Abwesenheit, während welcher meine Zimmertür stets offen war, lag auf meinem Tisch ein Blatt, auf dem sich jeder der wollte einschreiben konnte. Niemand hats getan.

Die Abweisung

Unser Städtchen liegt nicht etwa an der Grenze, bei weitem nicht, zur Grenze ist es noch so weit, dass vielleicht noch niemand aus dem Städtchen dort gewesen ist, wüste

также и широкие цветущие равнины. Представить себе мысленно хоть часть дороги – и то устанешь, а всю и представить себе нельзя. Встречаются по дороге и большие города, гораздо больше нашего. Можно поставить в ряд десять таких городков, как наш, да в середку втиснуть еще десять таких же городков, и все равно такого огромного и тесного города, как те, не получится. Если не заблудишься по дороге к границе, то уж в этих городах обязательно проплутаешь, а обойти их невозможно, уж очень они велики.

Но еще дальше, чем до границ, если вообще можно сравнивать такие расстояния – это все равно что сказать о трехсотлетнем старике, что он старше двухсотлетнего, – так вот, еще дальше от нашего городка до столицы. Если время от времени до нас и доходят слухи о пограничных войнах, то из столицы до нас почти ничего не доходит, – я имею в виду нас, простых граждан, потому что у государственных чиновников связь со столицей налажена превосходно: не пройдет и двух-трех месяцев, как они уже обо всем осведомлены, во всяком случае, так утверждают они.

Вот и удивительно – и я поражаюсь этому все снова и снова, – как жители нашего городка спокойно подчиняются всем распоряжениям из столицы. За много столетий они не предложили ни одной политической реформы. В столице сменялись царствующие особы, больше того, династии угасали и свергались и начинались новые, в прошлом столетии была даже разорена сама столица и основана другая, далеко от прежней, поз-

Hochländer sind zu durchqueren, aber auch weite fruchtbare Länder. Man wird müde, wenn man sich nur einen Teil des Weges vorstellt, und mehr als einen Teil kann man sich gar nicht vorstellen. Auch große Städte liegen auf dem Weg, viel größer als unser Städtchen. Zehn solche Städtchen, nebeneinander gelegt, und von oben noch zehn solche Städtchen hineingezwängt, ergeben noch keine dieser riesigen und engen Städte. Verirrt man sich nicht auf dem Weg dorthin, so verirrt man sich in den Städten gewiss, und ihnen auszuweichen ist wegen ihrer Größe unmöglich.

Aber doch noch weiter als bis zur Grenze ist, wenn man solche Entfernungen überhaupt vergleichen kann – es ist so, als wenn man sagte, ein dreihundertjähriger Mann ist älter als ein zweihundertjähriger –, also noch viel weiter als bis zur Grenze ist es von unserem Städtchen zur Hauptstadt. Während wir von den Grenzkriegen hie und da doch Nachrichten bekommen, erfahren wir aus der Hauptstadt fast nichts, wir bürgerlichen Leute meine ich, denn die Regierungsbeamten haben allerdings eine sehr gute Verbindung mit der Hauptstadt, in zwei, drei Monaten können sie schon eine Nachricht von dort haben, wenigstens behaupten sie es.

Und nun ist es merkwürdig, und darüber wundere ich mich immer wieder von neuem, wie wir uns in unserem Städtchen allem ruhig fügen, was von der Hauptstadt aus angeordnet wird. Seit Jahrhunderten hat bei uns keine von den Bürgern selbst ausgehende politische Veränderung stattgefunden. In der Hauptstadt haben die hohen Herrscher einander abgelöst, ja sogar Dynastien sind ausgelöscht oder abgesetzt

же была разорена и она и восстановлена старая – в нашем городке от этого, в сущности, ничего не изменилось. Наше чиновничество всегда пребывало на своем посту, крупных чиновников присылали из столицы, средних чиновников – уж во всяком случае, из других городов, самых мелких брали из нашей среды, так это всегда было, и так это нас удовлетворяло. Высший чиновник у нас – это обер-инспектор по сбору налогов, у него чин полковника, и его даже величают «господин полковник». В настоящее время это старый человек, я знаю его много лет, потому что, когда я был ребенком, он уже был полковником. Вначале он сделал очень быструю карьеру, а затем она как будто затормозилась, но для нашего городка его ранг как раз подходит, чиновнику более высокого ранга жить у нас было бы даже неуместно. Когда я стараюсь мысленно представить себе нашего обер-инспектора, я всегда вижу его на веранде его дома, что на базарной площади, он сидит в кресле, откинувшись на спинку, с трубкой во рту. На крыше над ним развевается государственный флаг, на веранде, такой просторной, что иногда там даже проводятся несложные военные учения, сушится на веревках белье. Его внучата в красивых шелковых платьях играют тут же; вниз, на базарную площадь, их не пускают, с остальными детьми им играть негде, однако базарная площадь их привлекает, они просовывают головки между столбиками перил, и, когда дети внизу ссорятся, они сверху тоже принимают участие в ссоре.

Итак, в нашем городе полковник – полновластный правитель. Я думаю, он еще

worden und neue haben begonnen, im vorigen Jahrhundert ist sogar die Hauptstadt selbst zerstört, eine neue weit von ihr gegründet, später auch diese zerstört und die alte wieder aufgebaut worden, auf unser Städtchen hat das eigentlich keinen Einfluss gehabt. Unsere Beamtschaft war immer auf ihrem Posten, die höchsten Beamten kamen aus der Hauptstadt, die mittleren Beamten zumindest von auswärts, die niedrigsten aus unserer Mitte, und so blieb es und so hat es uns genügt. Der höchste Beamte ist der Obersteuereinnahmer, er hat den Rang eines Obersten und wird auch so genannt. Heute ist er ein alter Mann, ich kenne ihn aber schon seit Jahren, denn schon in meiner Kindheit war er Oberst, er hat zuerst eine sehr schnelle Karriere gemacht, dann scheint sie aber gestockt zu haben, nun für unser Städtchen reicht sein Rang aus, einen höheren Rang wären wir bei uns gar nicht aufzunehmen fähig. Wann ich mir ihn vorzustellen suche, sehe ich ihn auf der Veranda seines Hauses auf dem Marktplatz sitzen, zurückgelehnt, die Pfeife im Mund. Über ihm weht vom Dach die Reichsfahne, an den Seiten der Veranda, die so groß ist, dass dort manchmal auch kleine militärische Übungen stattfinden, ist die Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Seine Enkel, in schönen seidenen Kleidern, spielen um ihn herum, auf den Marktplatz hinunter dürfen sie nicht gehn, die andern Kinder sind ihrer unwürdig, aber doch lockt sie der Platz und sie stecken wenigstens die Köpfe zwischen den Geländerstangen durch, und wenn die andern Kinder unten streiten, streiten sie von oben mit.

Dieser Oberst also beherrscht die Stadt. Ich glaube, er hat noch niemandem ein Doku-

никому не предъявлял документа, подтверждающего его права. Верно, у него такого документа и нет. Возможно, он и в самом деле обер-инспектор. Но разве этого достаточно? Разве это дает ему право распоряжаться во всех областях управления городом? Должность у него для государства очень важная, но для горожан она далеко не самая важная. Я бы даже сказал, что в нашем городе создается такое впечатление, будто люди говорят: «Ну вот, ты взял у нас все, что мы имели, возьми, пожалуйста, и нас самих в придачу». Дело в том, что он не захватил власть самовольно и он не тиран. Просто так уже издавна повелось, что обер-инспектор по сбору налогов – самый главный чиновник, и наш полковник, равно как и мы, подчиняется этой традиции.

Но хотя он живет среди нас, не чрезмерно выделяясь своим саном, все же он совсем не то, что обыкновенный горожанин. Когда к нему приходит делегация с той или иной просьбой, он возвышается, как стена на краю света. Позади него ничего нет; правда, кажется, будто где-то вдали еще шепчутся какие-то голоса, но, вероятно, это самообман, ведь на нем кончается все, во всяком случае, для нас. Надо видеть его во время таких приемов. Ребенком я однажды был там, когда делегация от горожан пришла ходатайствовать о правительственной помощи, так как целиком выгорел самый бедный городской квартал. Мой папаша, кузнец, пользуется у нас большим уважением, он был членом делегации и взял меня с собой. Тут нет ничего особенного, такое зрелище привлекает всех, в толпе даже трудно разобрать, кто, собственно, входит в делегацию; при-

ment vorgezeigt, das ihn dazu berechtigt. Er hat wohl auch kein solches Dokument. Vielleicht ist er wirklich Obersteuereinnahmer. Aber ist das alles? Berechtigt ihn das, auch in allen Gebieten der Verwaltung zu herrschen? Sein Amt ist ja für den Staat sehr gewichtig, aber für die Bürger ist es doch nicht das Wichtigste. Bei uns hat man fast den Eindruck, als ob die Leute sagten: “Nun hast du uns alles genommen, was wir hatten, nimm bitte auch uns selbst noch dazu.” Denn tatsächlich hat er nicht etwa die Herrschaft an sich gerissen und ist auch kein Tyrann. Es hat sich seit alten Zeiten so entwickelt, dass der Obersteuereinnahmer der erste Beamte ist, und der Oberst fügt sich dieser Tradition nicht anders als wir.

Aber wiewohl er ohne allzu viel Unterscheidungen der Würde unter uns lebt, ist er doch etwas ganz anderes als die gewöhnlichen Bürger. Wenn eine Abordnung mit einer Bitte vor ihn kommt, steht er da wie die Mauer der Welt. Hinter ihm ist nichts mehr, man hört förmlich dort weiterhin noch ahnungsweise ein paar Stimmen flüstern, aber das ist wahrscheinlich Täuschung, er bedeutet doch den Abschluss des Ganzen, wenigstens für uns. Man muss ihn bei solchen Empfängen gesehen haben. Als Kind war ich einmal dabei, als eine Abordnung der Bürgerschaft ihn um eine Regierungsunterstützung bat, denn das ärmste Stadtviertel war gänzlich niedergebrannt. Mein Vater, der Hufschmied, ist in der Gemeinde angesehen, war Mitglied der Abordnung und hatte mich mitgenommen. Das ist nichts Außergewöhnliches, zu einem solchen Schauspiel drängt sich alles, man erkennt die eigentliche Abordnung kaum aus der Menge heraus; da solche Empfänge meist auf der

ем большей частью происходит на веранде, поэтому находятся и такие люди, что с базарной площади приставляют к веранде лестницы и, глядя сверху через перила, стараются ничего не упустить. В тот раз около четверти веранды было отведено полковнику, остальную часть заполняла толпа. Несколько солдат наблюдали за порядком и, выстроившись полукругом, охраняли полковника. В сущности, хватило бы и одного солдата, так велик у нас страх перед ними. Я точно не знаю, откуда они, во всяком случае, откуда-то издалека; все они до того похожи, что могли бы даже обойтись без военной формы. Это низкорослые, не сильные, но проворные люди; особенно примечательны их могучие челюсти, которым форменным образом тесно во рту, и беспокойно мигающие и поблескивающие глаза-щелочки. Эти их особенности отпугивают, но одновременно и привлекают детей, потому что детям все снова и снова хочется испугаться этих челюстей и этих глаз и в ужасе убежать. Такой ребячий страх не проходит, надо полагать, и у взрослых, во всяком случае, он продолжает сказываться. Правда, к этому присоединяется еще одно обстоятельство: солдаты говорят на совершенно непонятном нам языке и никак не могут усвоить наш, отсюда некая их обособленность, недоступность, что, впрочем, соответствует их характеру – такие они молчаливые, строгие и словно окаменелые; они не причиняют никакого зла в собственном смысле этого слова, и все же есть в них что-то почти невыносимо злобное. Вот, например, приходит в лавку солдат, покупает какую-нибудь ерунду и не уходит, стоит, опершись о прилавок, прислушивается к разговорам, вероятно, ничего не по-

Veranda stattfinden, gibt es auch Leute, die vom Marktplatz her auf Leitern hinaufklettern und über das Geländer hinweg an den Dingen oben teilnehmen. Damals war es so eingerichtet, dass etwa ein Viertel der Veranda ihm vorbehalten war, den übrigen Teil füllte die Menge. Einige Soldaten überwachten alles, auch umstanden sie in einem Halbkreis ihn selbst. Im Grunde hätte ein Soldat für alles genügt, so groß ist bei uns die Furcht vor ihnen. Ich weiß nicht genau, woher diese Soldaten kommen, jedenfalls von weit her, alle sind sie einander sehr ähnlich, sie würden nicht einmal eine Uniform brauchen. Es sind kleine, nicht starke, aber behände Leute, am auffallendsten ist an ihnen das starke Gebiss, das förmlich allzu sehr ihren Mund füllt, und ein gewisses unruhig zuckendes Blitzen ihrer kleinen schmalen Augen. Durch dieses sind sie der Schrecken der Kinder, allerdings auch ihre Lust, denn immerfort möchten die Kinder vor diesem Gebiss und diesen Augen erschrecken wollen, um dann verzweifelt wegzulaufen. Dieser Schrecken aus der Kinderzeit verliert sich wahrscheinlich auch bei den Erwachsenen nicht, zumindest wirkt er nach. Es kommt dann freilich auch noch anderes hinzu. Die Soldaten sprechen einen uns ganz unverständlichen Dialekt, können sich an unsern kaum gewöhnen, dadurch ergibt sich bei ihnen eine gewisse Abgeschlossenheit, Unnahbarkeit, die überdies auch ihrem Charakter entspricht, so still, ernst und starr sind sie, sie tun nichts eigentlich Böses und sind doch in einem bösen Sinn fast unerträglich. Es kommt zum Beispiel ein Soldat in ein Geschäft, kauft eine Kleinigkeit, und bleibt dort nun an den Pult gelehnt stehn, hört den Gesprächen zu, versteht sie wahrscheinlich nicht, aber es hat

нимает, но вид у него такой, будто он понимает, а сам не говорит ни слова, только тупо смотрит на того, кто говорит, потом на тех, кто слушает, и не снимает руки с длинного ножа на поясе. Это отвратительно, пропадает всякая охота разговаривать, лавка пустеет, и только когда она совсем опустеет, солдат уходит. Вот потому-то, где только появятся солдаты, наш веселый народ сейчас же замолкает. Так было и в тот раз. Как при всяких торжественных случаях, полковник стоял выпрямившись и держал в обеих вытянутых вперед руках две длинные бамбуковые палки. Это старый обычай, означающий приблизительно следующее: так он опирается на закон и так закон опирается на него. Всякий у нас знает, что ждет его на веранде, и все же снова и снова испытывает трепет; и тогда даже тот, кого уполномочили говорить, никак не мог начать, он уже стоял напротив полковника, но тут мужество его оставило, и он, отнекиваясь и отговариваясь, попятился и втиснулся обратно в толпу. Другого подходящего человека, который согласился бы выступить, тоже не нашлось – правда, несколько человек вызвалось, но из числа неподходящих, – и все были в большом замешательстве. К нескольким горожанам, известным своим ораторским даром, отрядили послов. В течение всего этого времени полковник стоял, застыл в неподвижности, только при дыхании грудь его заметно вздымалась. И не то чтобы он тяжело дышал, просто он дышал чрезвычайно явственно, вроде того, как дышат лягушки, только у них это всегда так, а для него это было необычно. Я пробрался вслед за взрослыми и долго смотрел на него между двумя солдатами, пока один из них не отпихнул

doch den Anschein, als ob er sie verstünde, sagt selbst kein Wort, blickt nur starr auf den, welcher spricht, dann wieder auf die, welche zuhören, und hält die Hand auf dem Griff des langen Messers in seinem Gürtel. Das ist abscheulich, man verliert die Lust an der Unterhaltung, der Laden leert sich, und erst wenn er ganz leer ist, geht auch der Soldat. Wo also die Soldaten auftreten, wird auch unser lebhaftes Volk still. So war es auch damals. Wie bei allen feierlichen Gelegenheiten stand der Oberst aufrecht und hielt mit den nach vorn ausgestreckten Händen zwei lange Bambusstangen. Es ist eine alte Sitte, die etwa bedeutet: so stützt er das Gesetz und so stützt es ihn. Nun weiß ja jeder, was ihn oben auf der Veranda erwartet, und doch pflegt man immer wieder von neuem zu erschrecken, auch damals wollte der zum Reden Bestimmte nicht anfangen, er stand schon dem Obersten gegenüber, aber dann verließ ihn der Mut und er drängte sich wieder unter verschiedenen Ausreden in die Menge zurück. Auch sonst fand sich kein Geeigneter, der bereit gewesen wäre zu sprechen – von den Ungeeigneten boten sich allerdings einige an –, es war eine große Verwirrung und man sandte Boten an verschiedene Bürger, bekannte Redner aus. Während dieser ganzen Zeit stand der Oberst unbeweglich da, nur im Atmen senkte sich auffallend die Brust. Nicht dass er etwa schwer geatmet hätte, er atmete nur äußerst deutlich, so wie zum Beispiel Frösche atmen, nur dass es bei ihnen immer so ist, hier aber war es außerordentlich. Ich schlich mich zwischen den Erwachsenen durch und beobachtete ihn durch die Lücke zwischen zwei Soldaten so lange, bis mich einer mit dem Knie wegstieß. Inzwischen hatte sich der ursprünglich zum

меня коленом. За это время тот, кому с самого начала было поручено говорить, собрался с духом и, крепко держась за двух своих сограждан, начал краткую речь. Умилительно было видеть, как во время этой серьезной речи, живописующей тяжелое бедствие, он непрестанно улыбался униженной улыбкой, напрасно пытаясь вызвать хотя бы намек на ответную улыбку на лице полковника. Под конец он высказал просьбу; мне кажется, он просил только об освобождении от налогов в течение года, но, возможно, также и об отпуске по дешевой цене строевого леса из коронных владений. Затем он низко склонился и замер в почтительной позе, так же как и все остальные, за исключением полковника, солдат и нескольких чиновников на заднем плане. Мне, ребенку, показалось очень забавным, что люди на лестницах, приставленных к перилам веранды, спустились на две-три перекладины, чтобы их не было видно во время этой решающей паузы, и с любопытством подглядывали, чуть приподымая иногда головы над уровнем пола веранды. По истечении некоторого времени к полковнику, пребывавшему в неподвижности, если, конечно, не считать вздымавшуюся при дыхании грудь, подошел небольшого роста чиновник; он встал на цыпочки, силясь дотянуться до полковника, тот шепнул ему что-то на ухо, чиновник хлопнул в ладоши, после чего все выпрямились, и он провозгласил:

– Просьба отклонена. Можете идти.

Толпа вздохнула с явным облегчением, все толкались, спеша уйти, сам полковник, можно сказать, снова стал человеком, таким же, как и мы, на него никто не

Redner Bestimmte gesammelt und, von zwei Mitbürgern fest gestützt, hielt er die Ansprache. Rührend war, wie er bei dieser ernsten, das große Unglück schildernden Rede immer lächelte, ein allerdemütigstes Lächeln, das sich vergeblich anstrengte auch nur einen leichten Widerschein auf dem Gesicht des Obersten hervorzurufen. Schließlich formulierte er die Bitte, ich glaube, er bat nur um Steuerbefreiung für ein Jahr, vielleicht aber auch noch um billigeres Bauholz aus den kaiserlichen Wäldern. Dann verbeugte er sich tief und blieb in der Verbeugung ebenso wie alle andern außer dem Obersten, den Soldaten und einigen Beamten im Hintergrund. Lächerlich war es für das Kind, wie die auf den Leitern am Verandarand ein paar Sprossen hinunterstiegen, um während dieser entscheidenden Pause nicht gesehen zu werden, und nur neugierig knapp über dem Boden der Veranda von Zeit zu Zeit spionierten. Das dauerte eine Weile, dann trat ein Beamter, ein kleiner Mann, vor den Obersten, suchte sich auf den Fußspitzen zu ihm emporzuheben, erhielt von ihm, der noch immer bis auf das tiefe Atmen unbeweglich blieb, etwas ins Ohr geflüstert, klatschte in die Hände, worauf sich alle erhoben, und verkündete: "Die Bitte ist abgewiesen. Entfernt euch." Ein unleugbares Gefühl der Erleichterung ging durch die Menge, alles drängte sich hinaus, auf den Obersten, der förmlich wieder ein Mensch wie wir alle geworden war, achtete kaum jemand besonders, ich sah nur, wie er tatsächlich erschöpft die Stangen losließ, die hinfielen, in einen von Beamten herbeigeschleppten Lehnstuhl sank und eilig die Tabakpfeife in den Mund schob.

обращал внимания, я увидел только, как он, совершенно обессиленный, уронил на пол бамбуковые палки, затем в полном смысле слова упал на принесенное одним из чиновников кресло и поспешил сунуть в рот трубку.

Этот случай не единственный – так у нас обычно бывает. Правда, время от времени незначительные просьбы удовлетворяются, но тогда всякий раз получается так, будто полковник сделал это на собственный страх и риск, как всесильное частное лицо, и правительство ни в коем случае не должно об этом знать. Конечно, прямо это не говорится, но это само собой понятно. Ведь в нашем городке око полковника, насколько мы можем судить, – это око правительства, хотя все же тут есть и некое различие, не вполне доступное пониманию.

Но горожане могут быть уверены, что серьезная просьба всегда будет отклонена. Вот то-то и удивительно, что такой отказ нам в некотором роде необходим, и при этом делегации и отказы совсем не простая формальность. Мы снова и снова бодро и совершенно серьезно шагаем туда, а потом оттуда, разумеется, не ободренные и осчастливленные, но в то же время не разочарованные и не усталые. Мне совсем не надо узнавать это от других, я, как и все остальные, чувствую это собственным нутром, и я даже не могу сказать, что мне сколько-нибудь любопытно допытаться, в чем тут дело.

Правда, насколько я могу судить по собственным наблюдениям, существует некая чисто возрастная группа недовольных, это молодежь от семнадцати до

Dieser ganze Vorfall ist nicht vereinzelt, so geht es allgemein zu. Es kommt zwar vor, dass hie und da kleine Bitten erfüllt werden, aber dann ist es so, als hätte das der Oberst auf eigene Verantwortung als mächtige Privatperson getan, es muss – gewiss nicht ausdrücklich, aber der Stimmung nach – förmlich vor der Regierung geheim gehalten werden. Nun sind ja in unserem Städtchen die Augen des Obersten, soweit wir es beurteilen können, auch die Augen der Regierung, aber doch wird hier ein Unterschied gemacht, in den vollständig nicht einzudringen ist.

In wichtigen Angelegenheiten aber kann die Bürgerschaft einer Abweisung immer sicher sein. Und nun ist es eben so merkwürdig, dass man ohne diese Abweisung gewissermaßen nicht auskommen kann, und dabei ist dieses Hingehn und Abholen der Abweisung durchaus keine Formalität. Immer wieder frisch und ernst geht man hin und geht dann wieder von dort, allerdings nicht geradezu gekräftigt und beglückt, aber doch auch gar nicht enttäuscht und müde. Ich muss mich bei niemandem nach diesen Dingen erkundigen, ich fühle es in mir selbst wie alle. Und nicht einmal eine gewisse Neugierde, den Zusammenhängen dieser Dinge nachzuforschen.

Es gibt allerdings, so weit meine Beobachtungen reichen, eine gewisse Altersklasse, die nicht zufrieden ist, es sind etwa die jungen Leute zwischen siebzehn und zwanzig. Also ganz junge Burschen, die die Tragweite des unbedeutendsten, wie erst gar eines revolutionären Gedankens nicht von der Ferne ahnen können. Und gerade unter sie schleicht sich die Unzufriedenheit ein.

двадцати лет. То есть совсем еще юнцы, которые даже приблизительно не представляют себе, как далеко может завести самая незначительная идея, тем более революционная. И как раз в их среду и проникает недовольство.

год: 1920

перевод: И. Татарина

Содружество подлецов

Было некогда содружество подлецов, то есть это были не подлецы, а обыкновенные люди. Они всегда держались вместе. Если, например, кто-то из них подловатым образом делал несчастным кого-то постороннего, не принадлежащего к их ассоциации, – то есть опять-таки ничего подлого тут не было, все делалось как обычно, как принято делать – и затем исповедовался перед содружеством, они это разбирали, выносили об этом суждение, налагали взыскание, прощали и так далее. Зла никому не желали, интересы отдельных лиц и ассоциации соблюдались строго, и исповедующемуся подыгрывали: «Что? Из-за этого ты огорчаешься? Ты же сделал то, что само собой разумелось, поступил так, как должен был поступить. Все другое было бы непонятно. Ты просто перевозбужден. Приди в себя!» Так они всегда держались вместе, даже после смерти они не выходили из содружества, а хороводом возносились на небо. В общем, полет их являл картину чистой детской невинности. Но поскольку перед небом все разбивается на свои составные части, они падали поистине каменными глыбами.

год: 1917

перевод: С. Апта

Gemeinschaft von Schurken

Es war einmal eine Gemeinschaft von Schurken, d. h. es waren keine Schurken, sondern gewöhnliche Menschen, der Durchschnitt. Sie hielten immer zusammen. Wenn z. B. einer von ihnen etwas schurkenmäßiges ausgeübt hatte, d. h. wieder nichts schurkenmäßiges, sondern so wie es gewöhnlich, wie es üblich ist, und er dann vor der Gemeinschaft beichtete, untersuchten sie es, beurteilten es, legten Bußen auf, verziehen udgl. Es war nicht schlecht gemeint, die Interessen der einzelnen und der Gemeinschaft wurden streng gewahrt und dem Beichtenden wurde das Komplement gereicht, dessen Grundfarbe er gezeigt hatte. So hielten sie immer zusammen, auch nach ihrem Tode gaben sie die Gemeinschaft nicht auf, sondern stiegen im Reigen zum Himmel. Im ganzen war es ein Anblick reiner Kinderunschuld wie sie flogen. Da aber vor dem Himmel alles in seine Elemente zerschlagen wird, stürzten sie ab, wahre Felsblöcke.

Содружество

Мы пятеро друзей, мы вышли однажды друг за дружкой из одного дома, сперва вышел один и стал у дверей, затем вышел или, скорее, выскользнул из дверей с легкостью шарика ртути другой и встал неподалеку от первого, затем третий, затем четвертый, затем пятый. Наконец все мы выстроились в ряд. Люди обращали на нас внимание, показывали на нас и говорили: эти пятеро вышли сейчас из этого дома. С тех пор мы живем вместе, у нас была бы мирная жизнь, если бы то и дело не вмешивался шестой. Он не делает нам ничего худого, но он нам в тягость, это достаточно скверно; зачем он навязывается, если с ним не хотят иметь дело? Мы его не знаем и не хотим принимать его к себе. Мы, пятеро, тоже, правда, не знали друг друга, да и теперь, если угодно, не знаем, но то, что у нас пятерых допускается и терпится, это у шестого не допускается и не терпится. Кроме того, нас пять, и мы не хотим, чтобы нас было шесть. И какой вообще смысл быть непрестанно вместе, для нас, пятерых, в этом тоже нет смысла, но мы уже все равно вместе и вместе останемся, а новых объединений мы не хотим – как раз на основании своего опыта. Но как все это растолковать шестому, долгие объяснения означали бы чуть ли не принятие в наш круг, мы предпочитаем ничего не объяснять и просто не принимать его. Сколько бы он ни дулся, мы выталкиваем его локтями, но сколько бы мы ни выталкивали его, он приходит опять.

год: 1920

перевод: С. Апта

Gemeinschaft

Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen. Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.

Четвертое занятие

Городской герб

При строительстве вавилонской башни все было сначала более или менее в порядке; порядок был даже, пожалуй, слишком большой, слишком уж много думали о дорожных указателях, переводчиках, жилье для рабочих и путях сообщения, словно впереди века спокойной работы. Тогда господствовало даже мнение, что строить нужно как можно медленнее; мнение это вовсе не нужно было так уж преувеличивать, чтобы вообще отказаться от закладки фундамента. Аргументация была такая: самое главное во всем этом предприятии – мысль построить башню, которая достанет до неба. По сравнению с этой мыслью все прочее второстепенно. Мысль эта, во всем своем величии явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока будут на свете люди, будет и сильное желание достроить башню. В этом смысле, стало быть, не надо беспокоиться о будущем, напротив, знания человечества растут, зодчество делало успехи и будет делать успехи и дальше, работу, на которую нам нужен год, через сто лет, может быть, сделают за полгода, к тому же лучше, прочнее. Зачем же сегодня выбиваться из сил? Это имело бы смысл, только если бы можно было надеяться построить башню за время одного поколения. Но этого никоим образом нельзя было ожидать. Скорее можно было предположить, что следующее поколение с его более совершенным знанием найдет работу предыдущего поколения скверной и снесет построенное, чтобы

Der Stadtwappen

Anfangs war beim babylonischen Turmbau alles in leidlicher Ordnung; ja, die Ordnung war vielleicht zu groß, man dachte zu sehr an Wegweiser, Dolmetscher, Arbeiterunterkünfte und Verbindungswege, so als habe man Jahrhunderte freier Arbeitsmöglichkeit vor sich. Die damals herrschende Meinung ging sogar dahin, man könne gar nicht langsam genug bauen; man mußte diese Meinung gar nicht sehr übertreiben und konnte überhaupt davor zurückschrecken, die Fundamente zu legen. Man argumentierte nämlich so: Das Wesentliche des ganzen Unternehmens ist der Gedanke, einen bis in den Himmel reichenden Turm zu bauen. Neben diesem Gedanken ist alles andere nebensächlich. Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefaßt, kann nicht mehr verschwinden; solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da sein, den Turm zu Ende zu bauen. In dieser Hinsicht aber muß man wegen der Zukunft keine Sorgen haben, im Gegenteil, das Wissen der Menschheit steigert sich, die Baukunst hat Fortschritte gemacht und wird weitere Fortschritte machen, eine Arbeit, zu der wir ein Jahr brauchen, wird in hundert Jahren vielleicht in einem halben Jahr geleistet werden und überdies besser, haltbarer. Warum also schon heute sich an die Grenze der Kräfte abmühen? Das hätte nur dann Sinn, wenn man hoffen könnte, den Turm in der Zeit einer Generation aufzubauen. Das aber war auf keine Weise zu erwarten. Eher ließ sich denken, daß die nächste Generation mit ihrem vervollkommeneten Wissen die Arbeit der vorigen Generation schlecht finden und

начать заново. Такие мысли сковывали силы, и больше, чем о строительстве башни, заботились о строительстве города для рабочих. Каждое землячество хотело иметь самое лучшее жилье, из-за этого возникали споры, которые перерастали в кровавые стычки. Эти стычки не прекращались; для руководителей они были новым доводом в пользу того, что из-за отсутствия необходимой сосредоточенности башню следует строить очень медленно, а еще лучше – лишь после заключения всеобщего мира. Однако время проводили не только в стычках, в перерывах город украшали, чем, впрочем, вызывали новую зависть и новые стычки. Так прошло время первого поколения, но и все следующие не были иными, только росло мастерство, а с ним и воинственность. Вдобавок уже второе или третье поколение поняло бессмысленность строительства такой башни, но все были уже слишком крепко связаны друг с другом, чтобы покинуть город.

Все возникшие в этом городе предания и песни полны тоски о том предсказанном дне, когда город, пятью следующими через короткие промежутки ударами, разрушит исполинский кулак. Поэтому-то кулак и изображен на гербе города.

год: 1920

перевод: С.Апта

Новый адвокат

В наших рядах объявился новый адвокат – д-р Буцефал. Мало что в его наружности напоминает время, когда он был боевым конем Александра Македонского. Однако люди сведущие кое-что и за-

das Gebaute niederreißen werde, um von neuem anzufangen. Solche Gedanken lähmten die Kräfte, und mehr als um den Turmbau kümmerte man sich um den Bau der Arbeiterstadt. Jede Landsmannschaft wollte das schönste Quartier haben, dadurch ergaben sich Streitigkeiten, die sich bis zu blutigen Kämpfen steigerten. Diese Kämpfe hörten nicht mehr auf, den Führern waren sie ein neues Argument dafür, daß der Turm auch mangels der nötigen Konzentration sehr langsam oder lieber erst nach allgemeinem Friedensschluß gebaut werden sollte. Doch verbrachte man die Zeit nicht nur mit Kämpfen, in den Pausen verschönerte man die Stadt, wodurch man allerdings neuen Neid und neue Kämpfe hervorrief. So verging die Zeit der ersten Generation, aber keine der folgenden war anders, nur die Kunstfertigkeit steigerte sich immerfort und damit die Kampfsucht. Dazu kam, daß schon die zweite oder dritte Generation die Sinnlosigkeit des Himmelsturmbaues erkannte, doch war man schon viel zu sehr miteinander verbunden, um die Stadt zu verlassen.

Alles was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfüllt von der Sehnsucht nach einem prophezeitem Tage, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in fünf kurz aufeinanderfolgenden Schlägen zerschmettert werden wird. Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen.

Der neue Advokat

Wir haben einen neuen Advokaten, den Dr. Bucephalus. In seinem Äußern erinnert wenig an die Zeit, da er noch Streitroß Alexanders von Mazedonien war. Wer allerdings mit den Umständen vertraut

мечают. А недавно в парадном подъезде суда я даже видел, как простоватый служитель наметанным глазом скромного, но усердного завсегдагая скачек с восхищением следил за адвокатом, когда тот, подрагивая ляжками, звенящим шагом поднимался по мраморной лестнице ступенька за ступенькой.

В общем коллегия адвокатов одобряет включение Буцефала в наше сословие. С редким пониманием люди говорят себе, что Буцефалу трудно при нынешних порядках и он уже хотя бы поэтому, не говоря о его всемирно-историческом значении, заслуживает участия. В наше время, согласитесь, нет великого Александра. Убивать, правда, и у нас умеют; искусство пронзить копьём друга через банкетный стол тоже достаточно привилось; и многим тесно в Македонии, они проклинают Филиппа-отца, но никому, никому не дано повести нас в Индию. Уже и тогда ворота в Индию были недостижимы, но по крайней мере дорогу указывал царский меч. Ныне ворота перенесены в другое место – дальше и выше, – но никто не укажет вам дороги; меч вы увидите в руках у многих, но они только размахивают им, и взгляд, готовый устремиться следом, теряется и никнет.

Поэтому всего разумнее поступить, как Буцефал, – погрузиться в книги законов. Сам себе господин, свободный от шенкелей властительного всадника, он при тихом свете лампы, далеко от гула Александровых боев, читает и перелистывает страницы наших древних фолиантов.

год: 1917

перевод: Р. Гальперина

ist, bemerkt einiges. Doch sah ich letztthin selbst einen ganz einfältigen Gerichtsdiener auf der Freitreppe mit dem Fachblick des kleinen Stammgastes der Wettrennen den Advokaten bestaunen, als dieser, hoch die Schenkel hebend, mit auf dem Marmor aufklingendem Schritt von Stufe zu Stufe stieg.

Im allgemeinen billigt das Barreau die Aufnahme des Bucephalus. Mit erstaunlicher Einsicht sagt man sich, daß Bucephalus bei der heutigen Gesellschaftsordnung in einer schwierigen Lage ist und daß er deshalb, sowie auch wegen seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, jedenfalls Entgegenkommen verdient. Heute – das kann niemand leugnen – gibt es keinen großen Alexander. Zu morden verstehn zwar manche; auch an der Geschicklichkeit, mit der Lanze über den Bankettisch hinweg den Freund zu treffen, fehlt es nicht; und vielen ist Mazedonien zu eng, so daß sie Philipp, den Vater, verfluchen – aber niemand, niemand kann nach Indien führen. Schon damals waren Indiens Tore unerreichbar, aber ihre Richtung war durch die Spitze des Königsschwertes bezeichnet. Heute sind die Tore ganz anderswohin und weiter und höher vertragen; niemand zeigt die Richtung; viele halten Schwerter, aber nur um mit ihnen zu fuchteln; und der Blick, der ihnen folgen will, verirrt sich.

Vielleicht ist es deshalb wirklich das Beste, sich, wie es Bucephalus getan hat, in die Gesetzbücher zu versenken. Frei, unbedrückt die Seiten von den Lenden des Reiters, bei stiller Lampe, fern dem Getöse der Alexanderschlacht, liest und wendet er die Blätter unserer alten Bücher.

Старинная запись

Боюсь, что в обороне нашего отечества многое упущено. До сей поры мы об этом не думали, каждый был занят своим делом, однако последние события вселяют в нас тревогу.

Я держу сапожную мастерскую на площади перед дворцом. Едва я спозаранок открываю лавку, как вижу, что входы во все прилегающие улицы заняты вооруженными воинами. Но это не наши солдаты, а, должно быть, кочевники с севера. Каким-то непостижимым образом они достигли столицы, хотя она и стоит далеко от рубежей. Так или иначе, они здесь; и сдаётся мне, число их с каждым днем растёт.

Верные своему обычаю, они располагаются под открытым небом, домами же гнушаются. Единственное их занятие — оттачивать мечи, заострять стрелы и обьезжать коней. Эту тихую площадь, которую мы от века сохраним с боязливым попечением, они поистине превратили в конюшню. Мы иногда ещё выбегаем из своих лавок, чтобы убрать самую омерзительную грязь, но раз от разу все реже; ведь наши труды пропадают даром, и мы рискуем попасть под копыта полудиких лошадей или под удары плети.

Говорить с кочевниками невозможно. Нашего языка они не знают, а своего у них как будто и нет. Между собой они объясняются, как галки. Все время доносятся к нам их галочий грай. Наш уклад, наши установления им столь же непонятны, как и безразличны. Поэтому они даже знаки отказываются понимать. Хоть челюсть себе свихни, хоть выверни

Ein altes Blatt

Es ist, als wäre viel vernachlässigt worden in der Verteidigung unseres Vaterlandes. Wir haben uns bisher nicht darum gekümmert und sind unserer Arbeit nachgegangen; die Ereignisse der letzten Zeit machen uns aber Sorgen.

Ich habe eine Schusterwerkstatt auf dem Platz vor dem kaiserlichen Palast. Kaum öffne ich in der Morgendämmerung meinen Laden, sehe ich schon die Eingänge aller hier einlaufenden Gassen von Bewaffneten besetzt. Es sind aber nicht unsere Soldaten, sondern offenbar Nomaden aus dem Norden. Auf eine mir unbegreifliche Weise sind sie bis in die Hauptstadt gedrungen, die doch sehr weit von der Grenze entfernt ist. jedenfalls sind sie also da; es scheint, daß es jeden Morgen mehr werden.

Ihrer Natur entsprechend lagern sie unter freiem Himmel, denn Wohnhäuser verabscheuen sie. Sie beschäftigen sich mit dem Schärfen der Schwerter, dem Zuspitzen der Pfeile, mit Übungen zu Pferde. Aus diesem stillen, immer ängstlich rein gehaltenen Platz haben sie einen wahren Stall gemacht. Wir versuchen zwar manchmal aus unseren Geschäften hervorzulaufen und wenigstens den ärgsten Unrat wegzuschaffen, aber es geschieht immer seltener, denn die Anstrengung ist nutzlos und bringt uns überdies in die Gefahr, unter die wilden Pferde zu kommen oder von den Peitschen verletzt zu werden.

Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, ja sie haben kaum eine eigene. Untereinander verständigen sie sich ähnlich wie Dohlen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dohlen. Unsere Lebensweise, unsere Einrichtungen sind

руки в суставах, они тебя не поняли и ни за что не поймут. Зато они горазды гримасничать, вращать глазами белками и брызгать слюной – однако это не значит, что они хотят что-то сказать вам или даже испугать; это их естество. Что ни понадобится – берут. И не то чтобы применяли насилие. Нет, мы сами отходим в сторонку и все им оставляем.

Моими запасами они тоже поживились, отобрав что получше. Но я не вправе роптать, когда вижу, каково приходится хозяину мясной, что напротив, через площадь. Едва он привозит товар, как кочевники рвут его из рук и дочиста пожирают. Кони их тоже лопают мясо: я часто вижу, как всадник растянулся на земле рядом со своим скакуном и оба насыщаются одним и тем же куском, каждый со своего конца. Наш мясник так напуган, что не решается закрыть торговлю. И мы собираем деньги, чтобы его поддержать. Если кочевников не кормить мясом, одному Богу известно, что они натворят; впрочем, одному Богу известно, что они натворят, хоть и корми их что ни день мясом.

Наконец мясник надумал избавиться хотя бы от убоя скотины. Как-то утром он привел живого быка. И закаялся вперед это делать. Добрый час пролежал я ничком на полу в самом дальнем углу мастерской. Набросил на себя все носильное платье, все одеяла и подушки, лишь бы не слышать рева несчастного животного: кочевники, накинувшись со всех сторон, зубами рвали живое мясо. Все давно утихло, когда я отважился выйти на площадь; словно бражники во-

ihnen ebenso unbegreiflich wie gleichgültig. Infolgedessen zeigen sie sich auch gegen jede Zeichensprache ablehnend. Du magst dir die Kiefer verrenken und die Hände aus den Gelenken winden, sie haben dich doch nicht verstanden und werden dich nie verstehen. Oft machen sie Grimassen; dann dreht sich das Weiß ihrer Augen und Schaum schwillt aus ihrem Munde, doch wollen sie damit weder etwas sagen noch auch erschrecken; sie tun es, weil es so ihre Art ist. Was sie brauchen, nehmen sie. Man kann nicht sagen, daß sie Gewalt anwenden. Vor ihrem Zugriff tritt man beiseite und überläßt ihnen alles.

Auch von meinen Vorräten haben sie manches gute Stück genommen. Ich kann aber darüber nicht klagen, wenn ich zum Beispiel zusehe, wie es dem Fleischer gegenüber geht. Kaum bringt er seine Waren ein, ist ihm schon alles entrissen und wird von den Nomaden verschlungen. Auch ihre Pferde fressen Fleisch; oft liegt ein Reiter neben seinem Pferd und beide nähren sich vom gleichen Fleischstück, jeder an einem Ende. Der Fleischhauer ist ängstlich und wagt es nicht, mit den Fleischlieferungen aufzuhören. Wir verstehen das aber, schießen Geld zusammen und unterstützen ihn. Bekämen die Nomaden kein Fleisch, wer weiß, was ihnen zu tun einfiel; wer weiß allerdings, was ihnen einfallen wird, selbst wenn sie täglich Fleisch bekommen.

Letzthin dachte der Fleischer, er könne sich wenigstens die Mühe des Schlachtens sparen, und brachte am Morgen einen lebendigen Ochsen. Das darf er nicht mehr wiederholen. Ich lag wohl eine Stunde ganz hinten in meiner Werkstatt platt auf dem Boden und alle meine Kleider, Decken und Polster hatte ich über mir aufgehäuft, nur um das Gebrüll des Ochsen nicht zu hören, den von

круг винной бочки, полегли они без сил вокруг останков быка.

Должно быть, в этот же день в дворцовом окне привиделась мне особа нашего государя; он никогда не появляется в парадных покоях, предпочитая укромные комнаты, выходящие в сад; на сей же раз он стоял у окна – или так мне показалось – и, понуря голову, наблюдал это гульбище перед дворцом.

Что же дальше? – спрашиваем мы себя. Долго ли нам еще терпеть эту тягость и муку? Дворец приманил к нам кочевников, но он не в силах их прогнать. Ворота за семью запорами; караул, что раньше на разводах проходил торжественным маршем туда и обратно, ныне прячется за решетчатыми окнами. Нам, ремесленникам и торговцам, доверено спасение отечества; но такая задача нам вовсе не по плечу, да мы никогда и не хвалились, что готовы за нее взяться. Это чистейшее недоразумение; и мы от него гибнем.

год: 1917

перевод: Р. Гальперина

Как строилась китайская стена

Китайская стена в северной своей части закончена. Строители вели ее с юго-востока и с юго-запада и здесь оба отрезка соединили. Системы сооружения стены отдельными участками придерживали две большие рабочие армии – Восточная и Западная; и на каждом отрезке происходило это так, что были созданы группы рабочих по двадцать человек,

allen Seiten die Nomaden ansprangen, um mit den Zähnen Stücke aus seinem warmen Fleisch zu reißen. Schon lange war es still ehe ich mich auszugehen getraute; wie Trinker um ein Weinfäß lagen sie müde um die Reste des Ochsen.

Gerade damals glaubte ich den Kaiser selbst in einem Fenster des Palastes gesehen zu haben; niemals sonst kommt er in diese äußeren Gemächer, immer nur lebt er in dem innersten Garten; diesmal aber stand er, so schien es mir wenigstens, an einem der Fenster und blickte mit gesenktem Kopf auf das Treiben vor seinem Schloß.

“Wie wird es werden?” fragen wir uns alle. “Wie lange werden wir diese Last und Qual ertragen? Der kaiserliche Palast hat die Nomaden angelockt, versteht es aber nicht, sie wieder zu vertreiben. Das Tor bleibt verschlossen; die Wache, früher immer festlich ein- und ausmarschierend, hält sich hinter vergitterten Fenstern. Uns Handwerkern und Geschäftsleuten ist die Rettung des Vaterlandes anvertraut; wir sind aber einer solchen Aufgabe nicht gewachsen; haben uns doch auch nie gerühmt, dessen fähig zu sein. Ein Mißverständnis ist es; und wir gehen daran zugrunde.”

Beim Bau der Chinesischen Mauer

Die Chinesische Mauer ist an ihrer nördlichsten Stelle beendet worden. Von Südosten und Südwesten wurde der Bau herangeführt und hier vereinigt. Dieses System des Teilbaues wurde auch im Kleinen innerhalb der zwei großen Arbeitsheere, des Ost- und des Westheeres, befolgt. Es geschah das so, daß Gruppen von etwa zwanzig Arbeitern gebildet wurden, welche eine

каждой поручалось построить отрезок стены примерно в пятьсот метров, а соседняя группа строила встречный отрезок такой же длины. Но когда отрезки смыкались, эту стену в тысячу метров не продолжали – напротив, рабочие группы посылались совсем в другую местность, чтобы там начать все сызнова. Поэтому, естественно, остались многочисленные бреши, которые заполнялись лишь постепенно, иные даже только после того, как было возведено о завершении строительства всей стены в целом. Тем не менее ходили слухи, что некоторые бреши так и остались незаделанными, хотя это, может быть, всего-навсего одна из многочисленных легенд, возникших в связи с возведением стены, и эту легенду ни один человек своими глазами и своим измерением никак проверить не мог из-за огромной протяженности стены.

Казалось бы на первый взгляд, что самое целесообразное – строить, тут же соединяя между собой отрезки или хотя бы две главные части. Ведь стену эту, как утверждалось повсюду и как всем было известно, задумали для защиты от северных народностей. Но может ли служить защитой стена, отдельные части которой не соединены между собой? Нет, такая стена не только не может служить защитой, она сама находится в постоянной опасности. Стоящие в пустынной местности одинокие части могут легко и непрерывно разрушаться кочевниками, тем более что те, напуганные строительством стены, с непостижимой быстротой, словно кузнечики, начали перескакивать с места на место и поэтому могли, пожалуй, даже шире охватить взглядом

Teilmauer von etwa fünfhundert Metern Länge aufzuführen hatten, eine Nachbargruppe baute ihnen dann eine Mauer von gleicher Länge entgegen. Nachdem dann aber die Vereinigung vollzogen war, wurde nicht etwa der Bau am Ende dieser tausend Meter wieder fortgesetzt, vielmehr wurden die Arbeitergruppen wieder in ganz andere Gegenden zum Mauerbau verschickt. Natürlich entstanden auf diese Weise viele große Lücken, die erst nach und nach langsam ausgefüllt wurden, manche sogar erst, nachdem der Mauerbau schon als vollendet verkündigt worden war. Ja, es soll Lücken geben, die überhaupt nicht verbaut worden sind, eine Behauptung allerdings, die möglicherweise nur zu den vielen Legenden gehört, die um den Bau entstanden sind, und die, für den einzelnen Menschen wenigstens, mit eigenen Augen und eigenem Maßstab infolge der Ausdehnung des Baues unnachprüfbar sind.

Nun würde man von vornherein glauben, es wäre in jedem Sinne vorteilhafter gewesen, zusammenhängend zu bauen oder wenigstens zusammenhängend innerhalb der zwei Hauptteile. Die Mauer war doch, wie allgemein verbreitet wird und bekannt ist, zum Schutze gegen die Nordvölker gedacht. Wie kann aber eine Mauer schützen, die nicht zusammenhängend gebaut ist. Ja, eine solche Mauer kann nicht nur nicht schützen, der Bau selbst ist in fortwährender Gefahr. Diese in der Gegend verlassen stehenden Mauerteile können immer wieder leicht von den Nomaden zerstört werden, zumal diese damals, geängstigt durch den Mauerbau, mit unbegreiflicher Schnelligkeit wie Heuschrecken ihre Wohnsitze wechselten und deshalb vielleicht einen

строительство, чем мы сами, строители. Все же стену, вероятно, нельзя было возводить иначе, чем это делалось. И чтобы это понять, надо уяснить себе следующее: стена должна была служить защитой в течение долгих веков, поэтому необходимыми предпосылками такой работы являлись особая тщательность и применение строительной мудрости всех известных эпох и народов, а также постоянное чувство личной ответственности строителей. Правда, для подсобных работ можно было привлекать неподготовленных поденщиков из народа – мужчин, женщин, детей, всех, кого прельщала хорошая оплата; но для руководства хотя бы четырьмя поденщиками уже был нужен образованный строитель, человек, способный всем сердцем понять сущность стоящей перед ним задачи. И чем успешнее были достижения, тем больше предъявлялось требований. Такие люди действительно находились, и хоть не в том огромном количестве, в каком они были бы нужны для подобной стройки, все же их оказывалось немало.

Подошли к этой задаче отнюдь не легкомысленно. За пятьдесят лет до начала стройки во всем Китае, который предполагалось окружить стеной, строительное искусство, особенно же мастерство каменщиков, было объявлено важнейшей наукой, а все остальное признавалось лишь постольку, поскольку оно имело к ней отношение. Я отлично помню, как мы, еще малыши, едва научившиеся ходить, собрались в садике нашего учителя и он заставил нас построить из гальки какое-то подобие стены, потом поднял халат, разбежался и толкнул нашу стену,

besseren Überblick über die Baufortschritte hatten als selbst wir, die Erbauer. Trotzdem konnte der Bau wohl nicht anders ausgeführt werden, als es geschehen ist. Um das zu verstehen, muß man folgendes bedenken: Die Mauer sollte zum Schutz für die Jahrhunderte werden; sorgfältigster Bau, Benützung der Bauweisheit aller bekannten Zeiten und Völker, dauerndes Gefühl der persönlichen Verantwortung der Bauenden waren deshalb unumgängliche Voraussetzung für die Arbeit. Zu den niederen Arbeiten konnten zwar unwissende Tagelöhner aus dem Volke, Männer, Frauen, Kinder, wer sich für gutes Geld anbot, verwendet werden; aber schon zur Leitung von vier Tagelöhnern war ein verständiger, im Baufach gebildeter Mann nötig; ein Mann, der imstande war, bis in die Tiefe des Herzens mitzufühlen, worum es hier ging. Und je höher die Leistung, desto größer die Anforderungen. Und solche Männer standen tatsächlich zur Verfügung, wenn auch nicht in jener Menge, wie sie dieser Bau hätte verbrauchen können, so doch in großer Zahl.

Man war nicht leichtsinnig an das Werk herangegangen. Fünfzig Jahre vor Beginn des Baues hatte man im ganzen China, das ummauert werden sollte, die Baukunst, insbesondere das Maurerhandwerk, zur wichtigsten Wissenschaft erklärt und alles andere nur anerkannt, soweit es damit in Beziehung stand. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie wir als kleine Kinder, kaum unserer Beine sicher, im Gärtchen unseres Lehrers standen, aus Kieselsteinen eine Art Mauer bauen mußten, wie der Lehrer den Rock schürzte, gegen die Mauer rannete, natürlich alles zusammenwarf, und uns

которая, конечно, тут же развалилась, а потом бранил нас за шаткость нашей постройки, так что мы с ревом удрали домой. Ничтожный случай, но характерный для духа времени.

Мне повезло, ибо, когда я, двадцати лет от роду, выдержал завершающие экзамены начальной школы, к строительству стены только что приступили. Я говорю – повезло, ибо многие, достигшие раньше вершины доступного им обучения, в течение ряда лет не знали, к чему приложить свои познания, бездельничали, вынашивая величественные архитектурные планы, и в конце концов опускались. Но те, кто все же попадали на стройку как руководители хотя бы самого низшего ранга, это заслужили. То были каменщики, много размышлявшие о стене и не перестававшие размышлять; с первым камнем, который они заложили в землю, они срослись со стройкой. Таких каменщиков наряду с желанием трудиться самым основательным образом подгоняло и нетерпение увидеть стену в ее завершенности. Поденщик не ведает подобного нетерпения, его подгоняет только оплата, главные же начальники, а также средние видят многосторонний рост сооружения, и это укрепляет их дух и стойкость. Но о самых простых каменщиках, стоявших духовно значительно выше своей как будто скромной задачи, надо было позаботиться совсем иначе. Не следовало, например, месяцами, а то и годами заставлять их жить в безлюдной горной местности, вдали от родных краев, складывая кирпич к кирпичу; безнадежность этой усердной работы, конца которой не видно было даже за целую

wegen der Schwäche unseres Baues solche Vorwürfe machte, daß wir heulend uns nach allen Seiten zu unseren Eltern verließen. Ein winziger Vorfall, aber bezeichnend für den Geist der Zeit.

Ich hatte das Glück, daß, als ich mit zwanzig Jahren die oberste Prüfung der untersten Schule abgelegt hatte, der Bau der Mauer gerade begann. Ich sage Glück, denn viele, die früher die oberste Höhe der ihnen zugänglichen Ausbildung erreicht hatten, wußten jahrelang mit ihrem Wissen nichts anzufangen, trieben sich, im Kopf die großartigsten Baupläne, nutzlos herum und verlotterten in Mengen. Aber diejenigen, die endlich als Bauführer, sei es auch untersten Ranges, zum Bau kamen, waren dessen tatsächlich würdig. Es waren Maurer, die viel über den Bau nachgedacht hatten und nicht aufhörten, darüber nachzudenken, die sich mit dem ersten Stein, den sie in den Boden einsenken ließen, dem Bau verwachsen fühlten. Solche Maurer trieb aber natürlich, neben der Begierde, gründlichste Arbeit zu leisten, auch die Ungeduld, den Bau in seiner Vollkommenheit endlich erstehen zu sehen. Der Tagelöhner kennt diese Ungeduld nicht, den treibt nur der Lohn, auch die oberen Führer, ja selbst die mittleren Führer sehen von dem vielseitigen Wachsen des Baues genug, um sich im Geiste dadurch kräftig zu halten. Aber für die unteren, geistig weit über ihrer äußerlich kleinen Aufgabe stehenden Männer, mußte anders vorgesorgt werden. Man konnte sie nicht zum Beispiel in einer unbewohnten Gebirgsgegend, hunderte Meilen von ihrer Heimat, Monate oder gar Jahre lang Mauerstein an Mauerstein fügen lassen; die Hoffnungslosigkeit solcher

человеческую жизнь, могла довести их до отчаяния и прежде всего лишить работоспособности. Потому-то и избрали систему возведения стены отдельными отрезками. Можно было, скажем, выложить пятьсот метров за пять лет, но к тому времени руководители поденщиков бывали обычно слишком изнурены и утрачивали всякое доверие к себе, к стройке, к миру. И вот, пока они еще горели энтузиазмом после праздника соединения двух отрезков тысячеметровой стены, их отправляли далеко-далеко, и во время переезда они видели то там, то здесь готовые части стены, они проезжали мимо штабов высших руководителей, одарявших их почетными значками, слышали ликование новых рабочих армий, притекавших из далеких глубин страны, видели, как сносят целые леса для нужд строительства, видели горы, которые дробились камнетесами для стройки, слышали в святотливых песнопениях верующих, моливших о благополучном завершении стены. Все это укрощало их нетерпение. Спокойная жизнь в родных местах, где они проводили время, укрепляла их, особое почитание, с каким встречали каждого строителя, благоговейное смирение, с каким слушали их рассказы, уверенность простого тихого гражданина в том, что стена будет когда-нибудь завершена, – все это определенным образом настраивало струны их души. Подобно лелеющим вечную надежду детям, прощались они тогда со своей родиной, желание снова участвовать в общенародном деле становилось неудержимым. И они уезжали из дому раньше, чем это было нужно. Половина деревни провожала их большую часть

fleißigen, aber selbst in einem langen Menschenleben nicht zum Ziel führenden Arbeit hätte sie verzweifelt und vor allem wertloser für die Arbeit gemacht. Deshalb wählte man das System des Teilbaues. Fünfhundert Meter konnten etwa in fünf Jahren fertiggestellt werden, dann waren freilich die Führer in der Regel zu erschöpft, hatten alles Vertrauen zu sich, zum Bau, zur Welt verloren. Drum wurden sie dann, während sie noch im Hochgefühl des Vereinigungsfestes der tausend Meter Mauer standen, weit, weit verschickt, sahen auf der Reise hier und da fertige Mauerteile ragen, kamen an Quartieren höherer Führer vorüber, die sie mit Ehrenzeichen beschenkten, hörten den Jubel neuer Arbeitsheere, die aus der Tiefe der Länder herbeiströmten, sahen Wälder niederlegen, die zum Mauergerüst bestimmt waren, sahen Berge in Mauersteine zerhämmern, hörten auf den heiligen Stätten Gesänge der Frommen Vollendung des Baues erleben. Alles dieses besänftigte ihre Ungeduld. Das ruhige Leben der Heimat, in der sie einige Zeit verbrachten, kräftigte sie, das Ansehen, in dem alle Bauenden standen, die gläubige Demut, mit der ihre Berichte angehört wurden, das Vertrauen, das der einfache, stille Bürger in die einstige Vollendung der Mauer setzte, alles dies spannte die Saiten der Seele. Wie ewig hoffende Kinder nahmen sie dann von der Heimat Abschied, die Lust, wieder am Volkswerk zu arbeiten, wurde unbezwinglich. Sie reisten früher von Hause fort, als es nötig gewesen wäre, das halbe Dorf begleitete sie lange Strecken weit. Auf allen Wegen Gruppen, Wimpel, Fahnen, niemals hatten sie gesehen, wie groß und reich und schön und liebenswert ihr Land war. Jeder Landmann war ein Bru-

пути. И всюду на дорогах они видели группы строителей, вымпелы, флаги, они никогда не предполагали, какой огромной, богатой, прекрасной и достойной любви была их страна. Каждый земледелец был им братом, для которого строится защитная стена и который весь, как он есть, и со всем, что у него есть, будет до конца своей жизни благодарен им. Единство! Единство! Все стоят плечом к плечу, ведут всеобщий хоровод, кровь, уже не замкнутая в скупую систему сосудов отдельного человека, сладостно течет через весь бесконечный Китай и все же возвращается к тебе.

Итак, вот одна из причин, почему строили по частям; но, вероятно, есть и другие. И нет ничего странного в том, что я так долго задерживаюсь на этом вопросе, ведь это основной вопрос для всего возведения стены, хотя он на первый взгляд и кажется несущественным. Но если я хочу передать мысли и чувства тех времен, то трудно исчерпать всю его глубину.

Прежде всего следует отметить, что тогдашние свершения по своему размаху ненамного отстают от создания Вавилонской башни, но в смысле их угодности Богу – по крайней мере по человеческому разумению – являются прямой противоположностью той башне. Я упоминаю об этом потому, что в начале строительства стены один ученый написал книгу, где очень подробно сравнивал эти два события. Он пытался в ней доказать, что причины неудачи с Вавилонской башней вовсе не те, которые принято выдвигать, или хотя бы что эти общественные причины не играют той решающей роли,

der, für den man eine Schutzmauer baute, und der mit allem, was er hatte und war, sein Leben lang dafür dankte. Einheit! Einheit! Brust an Brust, ein Reigen des Volkes, Blut, nicht mehr eingesperrt im kärglichen Kreislauf des Körpers, sondern süß rollend und doch wiederkehrend durch das unendliche China.

Dadurch also wird das System des Teilbaues verständlich; aber es hatte doch wohl noch andere Gründe. Es ist auch keine Sonderbarkeit, daß ich mich bei dieser Frage so lange aufhalte, es ist eine Kernfrage des ganzen Mauerbaues, so unwesentlich sie zunächst scheint. Will ich den Gedanken und die Erlebnisse jener Zeit vermitteln und begreiflich machen, kann ich gerade dieser Frage nicht tief genug nachbohren.

Zunächst muß man sich doch wohl sagen, daß damals Leistungen vollbracht worden sind, die wenig hinter dem Turmbau von Babel zurückstehen, an Gottgefälligkeit allerdings, wenigstens nach menschlicher Rechnung, geradezu das Gegenteil jenes Baues darstellen. Ich erwähne dies, weil in den Anfangszeiten des Baues ein Gelehrter ein Buch geschrieben hat, in welchem er diese Vergleiche sehr genau zog. Er suchte darin zu beweisen, daß der Turmbau zu Babel keineswegs aus den allgemein behaupteten Ursachen nicht zum Ziele geführt hat, oder daß wenigstens unter diesen bekannten Ursachen sich nicht die allerersten be-

какую им обычно приписывают. Его доказательства основывались не только на письменных и устных сообщениях, он будто бы самолично производил исследования на том самом месте и выяснил, что башня рухнула из-за слабого фундамента, не могла не рухнуть. В этом смысле наше время, конечно, далеко ушло вперед по сравнению с теми давно миновавшими днями. Почти каждый наш современник был по образованию строителем и в вопросах подведения фундамента вполне сведущ. Но ученый в этом и не сомневался, а утверждал, что лишь великая стена впервые в истории человечества явится прочным фундаментом для новой Вавилонской башни. Итак, сначала стена, затем башня. Книга ходила тогда по рукам, но, сознаюсь, мне до сих пор еще не вполне понятно, каким он представлял себе строительство башни. И как могла бы стена, не образовавшая даже полной окружности, а лишь четверть или полукружие, служить фундаментом для башни? Это могло быть сказано только в чисто духовном смысле. Но при чем тогда стена, которая была предметом вполне материальным, плодом трудов и жизни сотен тысяч? И для чего к этой книге были приложены планы башни – правда, весьма туманные, а также разработанные до мельчайших подробностей предложения относительно того, как в этой новой мощной стройке объединить всю мощь народа?

Однако в те дни – эта книга только один из примеров – в головах царил великая путаница, может быть, именно потому, что столько людей пытались сосредоточить свои усилия по возможности на

finden. Seine Beweise bestanden nicht nur aus Schriften und Berichten, sondern er wollte auch am Orte selbst Untersuchungen angestellt und dabei gefunden haben, daß der Bau an der Schwäche des Fundamentes scheiterte und scheitern mußte. In dieser Hinsicht allerdings war unsere Zeit jener längst vergangenen weit überlegen. Fast jeder gebildete Zeitgenosse war Maurer vom Fach und in der Frage der Fundamentierung untrüglich. Dahin zielte aber der Gelehrte gar nicht, sondern er behauptete, erst die große Mauer werde zum erstenmal in der Menschenzeit ein sicheres Fundament für einen neuen Babelturm schaffen. Also zuerst die Mauer und dann der Turm. Das Buch war damals in aller Hände, aber ich gestehe ein, daß ich noch heute nicht genau begreife, wie er sich diesen Turmbau dachte. Die Mauer, die doch nicht einmal einen Kreis, sondern nur eine Art Viertel- oder Halbkreis bildete, sollte das Fundament eines Turmes abgeben? Das konnte doch nur in geistiger Hinsicht gemeint sein. Aber wozu dann die Mauer, die doch etwas Tatsächliches war, Ergebnis der Mühe und des Lebens von Hunderttausenden? Und wozu waren in dem Werk Pläne, allerdings nebelhafte Pläne, des Turmes gezeichnet und Vorschläge bis ins einzelne gemacht, wie man die Volkskraft in dem kräftigen neuen Werk zusammenfassen sollte?

Es gab – dieses Buch ist nur ein Beispiel – viel Verwirrung der Köpfe damals, vielleicht gerade deshalb, weil sich so viele möglichst auf einen Zweck hin zu sammeln suchten. Das menschliche Wesen, leichtfertig in

одной цели. Человеческое существо, будучи по своей сути легковесным и подобным взлетающей пыли, не терпит никакой привязи; если оно к чему-нибудь само себя привяжет, то очень скоро начнет бешено дергать свои оковы и разрывать в клочья себя, стену и цепи.

Возможно, что даже эти соображения, говорящие против строительства, учитывались начальниками, когда стена возводилась частями. А мы – я говорю, вероятно, от имени многих, – лишь расшифровывая распоряжения верховного руководства, познали самих себя и поняли, что без этого руководства ни наших школьных познаний, ни нашего человеческого разума не хватило бы для выполнения тех скромных задач внутри огромного целого, которое было нам поручено. В помещении руководителей (где этот покой находился и кто сидел там – не знает и не знал ни один человек, кого я ни спрашивал), в этом покое, должно быть, кружили все человеческие помыслы и желания, а им навстречу неслись все человеческие цели и их осуществления. В окно же на руки, чертившие эти планы, падал отсвет божественных миров.

Поэтому беспристрастный наблюдатель вынужден отметить, что руководство, пожелай оно этого серьезно, смогло бы преодолеть и те трудности, которые встают перед последовательным строительством всей страны. Отсюда напрашивается только один вывод: стройка частями производилась намеренно. Это было лишь временной мерой, и притом нецелесообразной. Тогда напрашивается и другой вывод: значит, руководители

seinem Grund, von der Natur des auffliegenden Staubes, verträgt keine Fesselung; fesselt es sich selbst, wird es bald wahnsinnig an den Fesseln zu rütteln anfangen und Mauer, Kette und sich selbst in alle Himmelsrichtungen zerreißen.

Es ist möglich, daß auch diese, dem Mauerbau sogar gegensätzlichen Erwägungen von der Führung bei der Festsetzung des Teilbaues nicht unberücksichtigt geblieben sind. Wir – ich rede hier wohl im Namen vieler – haben eigentlich erst im Nachbuchstabieren der Anordnungen der obersten Führerschaft uns selbst kennengelernt und gefunden, daß ohne die Führerschaft weder unsere Schulweisheit noch unser Menschenverstand für das kleine Amt, das wir innerhalb des großen Ganzen hatten, ausgereicht hätte. In der Stube der Führerschaft – wo sie war und wer dort saß, weiß und wußte niemand, den ich fragte- in dieser Stube kreisten wohl alle menschlichen Gedanken und Wünsche und in Gegenkreisen alle menschlichen Ziele und Erfüllungen. Durch das Fenster aber fiel der Abglanz der göttlichen Welten auf die Pläne zeichnenden Hände der Führerschaft.

Und deshalb will es dem unbestechlichen Betrachter nicht eingehen, daß die Führerschaft, wenn sie es ernstlich gewollt hätte, nicht auch jene Schwierigkeiten hätte überwinden können, die einem zusammenhängenden Mauerbau entgegenstanden. Bleibt also nur die Folgerung, daß die Führerschaft den Teilbau beabsichtigte. Aber der Teilbau war nur ein Notbehelf und unzweckmäßig. Bleibt die Folgerung, daß die Führerschaft etwas Unzweckmäßiges

стремились к чему-то нецелесообразному. Станный вывод! Верно, а с другой стороны, многое его все же оправдывает. Сейчас об этом, видимо, можно говорить без страха. Тогда это являлось тайным правилом поведения для многих, и даже лучших: старайся всеми силами понять указания начальников, но только до определенных границ, а дальше прекращай размышления. Весьма разумное правило, которое, впрочем, отразилось позднее в одном часто повторяемом сравнении: не потому должен ты прекратить дальнейшие размышления, что это может тебе повредить, отнюдь нельзя утверждать, что они тебе повредят. В данном случае вообще нельзя говорить, будет вред или не будет. Но с тобой случится то же, что происходит веснами с рекой. Вода в ней поднимается, затем делается мощнее, она энергичнее питает почву вдоль своих длинных берегов, продолжает сохранять свою сущность, даже вливаясь в море, и становится с морем более равноправной и ему более желанной. До этого момента ты можешь следовать мыслью за распоряжениями начальников. Затем река выходит из берегов, теряет формы и очертания, замедляет свое возвращение в обычное русло, пытается вопреки своему назначению образовать маленькие моря внутри страны, размывает пашни, но все же оказывается не способной сохранять надолго такую широту и снова входит в свои берега, а во время наступающей затем жары даже пересыхает самым жалким образом. Вот и тебе не нужно следовать мыслью так далеко за распоряжениями руководителей.

wollte. – Sonderbare Folgerung! – Gewiß, und doch hat sie auch von anderer Seite manche Berechtigung für sich. Heute kann davon vielleicht ohne Gefahr gesprochen werden. Damals war es geheimer Grundsatz Vieler, und sogar der Besten: Suche mit allen deinen Kräften die Anordnungen der Führerschaft zu verstehen, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, dann höre mit dem Nachdenken auf. Ein sehr vernünftiger Grundsatz, der übrigens noch eine weitere Auslegung in einem später oft wiederholten Vergleich fand: Nicht weil es dir schaden könnte, höre mit dem weiteren Nachdenken auf, es ist auch gar nicht sicher, daß es dir schaden wird. Man kann hier überhaupt weder von Schaden noch Nichtschaden sprechen. Es wird dir geschehen wie dem Fluß im Frühjahr. Er steigt, wird mächtiger, nährt kräftiger das Land an seinen langen Ufern, behält sein eignes Wesen weiter ins Meer hinein und wird dem Meere ebenbürtiger und willkommener. – So weit denke den Anordnungen der Führerschaft nach. -Dann aber übersteigt der Fluß seine Ufer, verliert Umrisse und Gestalt, verlangsamt seinen Abwärtslauf, versucht gegen seine Bestimmung kleine Meere ins Binnenland zu bilden, schädigt die Fluren, und kann sich doch für die Dauer in dieser Ausbreitung nicht halten, sondern rinnt wieder in seine Ufer zusammen, ja trocknet sogar in der folgenden heißen Jahreszeit kläglich aus. – So weit denke den Anordnungen der Führerschaft nicht nach.

Но если подобное сравнение было во времена строительства стены исключительно удачным, то для моего повествования оно имеет лишь очень ограниченное значение. Ведь данное исследование носит чисто исторический характер; из давно рассеявшихся грозовых туч уже не блеснут молнии, и я потому имею право искать более глубокие причины частичной стройки, чем те, какими удовлетворялись мы в ту пору. Границы, поставленные мне моим мышлением, достаточно тесны, а область, которую пришлось бы охватить, — сама бесконечность.

От кого должна была великая стена служить защитой? От северных народов. Я родом из Юго-Восточного Китая. Никакой северный народ нам угрожать не может. Мы читаем о них в древних книгах, и жестокости, совершаемые ими в соответствии с их природой, заставляют нас только вздыхать под мирной сенью наших деревьев. На правдивых картинах наших художников мы видим эти отмеченные проклятьем лица, разинутые рты, усаженные острыми зубами челюсти, прищуренные глаза, которые как будто уже высматривают воровскую добычу, и пасть, уже готовую растерзать ее и раздробить. Если дети ведут себя плохо, мы показываем им эти картины, и они, плача, бросаются нам на шею. Но больше ничего мы об этих северянах не знаем. Видеть их мы не видели и, живя в своей деревне, никогда и не увидим, даже если они на своих диких конях, разъярясь, будут мчаться на нас, — настолько обширна наша страна, что она их к нам не подпустит, они просто растают в воздухе.

Nun mag dieser Vergleich während des Mauerbaues außerordentlich treffend gewesen sein, für meinen jetzigen Bericht hat er doch zum mindesten nur beschränkte Geltung. Meine Untersuchung ist doch nur eine historische; aus den längst verfliegenen Gewitterwolken zuckt kein Blitz mehr, und ich darf deshalb nach einer Erklärung des Teilbaues suchen, die weitergeht als das, womit man sich damals begnügte. Die Grenzen, die meine Denkfähigkeit mir setzt, sind ja eng genug, das Gebiet aber, das hier zu durchlaufen wäre, ist das Endlose.

Gegen wen sollte die große Mauer schützen? Gegen die Nordvölker. Ich stamme aus dem südöstlichen China. Kein Nordvolk kann uns dort bedrohen. Wir lesen von ihnen in den Büchern der Alten, die Grausamkeiten, die sie ihrer Natur gemäß begehen, machen uns aufseufzen in unserer friedlichen Laube. Auf den wahrheitsgetreuen Bildern der Künstler sehen wir diese Gesichter der Verdammnis, die aufgerissenen Mäuler, die mit hoch zugespitzten Zähnen besteckten Kiefer, die verkiffenen Augen, die schon nach dem Raub zu schielen scheinen, den das Maul zermalmen und zerreißen wird. Sind die Kinder böse, halten wir ihnen diese Bilder hin und schon fliegen sie weinend an unsern Hals. Aber mehr wissen wir von diesen Nordländern nicht. Gesehen haben wir sie nicht, und bleiben wir in unserem Dorf, werden wir sie niemals sehen, selbst wenn sie auf ihren wilden Pferden geradeaus zu uns hetzen und jagen, — zu groß ist das Land und läßt sie nicht zu uns, in die leere Luft werden sie sich verrennen.

Зачем же, если дело обстоит именно так, покидаем мы родные места, речку и мосты, мать и отца, рыдающую жену, детей, которых нужно воспитывать, и уходим в школу, в далекий город, а мысли наши устремлены еще дальше – к стене на севере? Зачем? Спроси начальников. Они знают нас. Им, несущим бремя столь великих забот, известно о нас, они знают наше скромное ремесло, видят, как мы сидим все вместе в низкой хижине, и молитва, которую вечером глава семьи читает в кругу близких, руководителям приятна или неприятна. И если я смею позволить себе подобную мысль относительно руководства, то должен сказать, что, по моему мнению, руководство существует с незапамятных времен и не действует подобно знатным мандаринам, которые, вдохновившись прекрасным утренним сновидением, тут же созывают совещание, быстро принимают решения и уже вечером поднимают народ барабанным боем с постели, чтобы выполнить эти решения, пусть речь идет лишь об иллюминации в честь какого-нибудь бога, если он вчера был милостив к этим господам, а утром, когда погаснут фонарики, они высекут этот народ в темном закоулке. Вернее – руководители существовали искони и решение построить стену – тоже. И тут ни при чем северные народы, воображавшие, что они всему виной, и ни при чем достойный император, вообразивший, что это он приказал построить стену. Но мы, ее строители, знаем другое и помалкиваем.

Уже тогда, во время строительства стены, я занимался и до сих пор занимаюсь почти исключительно сравнительной

Warum also, da es sich so verhält, verlassen wir die Heimat, den Fluß und die Brücken, die Mutter und den Vater, das weinende Weib, die lehrbedürftigen Kinder und ziehen weg zur Schule nach der fernen Stadt und unsere Gedanken sind noch weiter bei der Mauer im Norden? Warum? Frage die Führerschaft. Sie kennt uns. Sie, die ungeheure Sorgen wälzt, weiß von uns, kennt unser kleines Gewerbe, sieht uns alle zusammensitzen in der niedrigen Hütte und das Gebet, das der Hausvater am Abend im Kreise der Seinigen sagt, ist ihr wohlgefällig, oder mißfällt ihr. Und wenn ich mir einen solchen Gedanken über die Führerschaft erlauben darf, so muß ich sagen, meiner Meinung nach bestand die Führerschaft schon früher, kam nicht zusammen, wie etwa hohe Mandarinen, durch einen schönen Morgentraum angeregt, eiligst eine Sitzung einberufen, eiligst beschließen, und schon am Abend die Bevölkerung aus den Betten trommeln lassen, um die Beschlüsse auszuführen, sei es auch nur um eine Illumination zu Ehren eines Gottes zu veranstalten, der sich gestern den Herren günstig gezeigt hat, um sie morgen, kaum sind die Lampions verlöscht, in einem dunkeln Winkel zu verprügeln. Vielmehr bestand die Führerschaft wohl seit jeher und der Beschluß des Mauerbaues gleichfalls. Unschuldige Nordvölker, die glaubten, ihn verursacht zu haben, verehrungswürdiger, unschuldiger Kaiser, der glaubte, er hätte ihn angeordnet. Wir vom Mauerbau wissen es anders und schweigen.

Ich habe mich, schon damals während des Mauerbaues und nachher bis heute, fast ausschließlich mit vergleichender Völker-

историей народов, – ибо существуют вопросы, к скрытой сути которых можно в известном смысле подойти только таким путем, – и я обнаружил, что у нас, китайцев, есть народные и государственные установления, обладающие беспримерной ясностью, а другие – беспримерной неясностью. К исследованию главным образом последних, к установлению их причины меня всегда влекло, влечет и сейчас, ибо все это крайне существенно и для построения стены.

Одним из самых непонятных установлений является у нас императорская власть. Конечно, в Пекине, в придворном обществе, на этот счет некоторая ясность существует, хотя и она скорее кажущаяся, чем истинная. Преподаватели государственного права и истории в высших учебных заведениях утверждают, будто они в этом вопросе точно осведомлены, почему и могут передавать свои познания студентам. Но чем ниже спускаешься к начальным школам, тем, конечно, меньше встречаешь сомнений в приобретенных познаниях, и полубразованность вздымается там крутыми волнами вокруг весьма немногочисленных, установленных веками поучений, которые хоть ничего и не утратили от своей вечной правды, но в этом чаду и тумане так и остаются навеки непонятными.

А вот относительно императорской власти как раз и следовало бы, по моему мнению, опросить народ, ибо власть эта имеет в нем свою главную опору. Тут я, конечно, могу опять-таки говорить лишь о своих родных местах. Помимо полевых божеств и служения им, которое продолжается весь год и полно разнообразия

geschichte beschäftigt – es gibt bestimmte Fragen, denen man nur mit diesem Mittel gewissermaßen an den Nerv herankommt und ich habe dabei gefunden, daß wir Chinesen gewisse volkliche und staatliche Einrichtungen in einzigartiger Klarheit, andere wieder in einzigartiger Unklarheit besitzen. Den Gründen, insbesondere der letzten Erscheinung, nachzuspüren, hat mich immer gereizt, reizt mich noch immer, und auch der Mauerbau ist von diesen Fragen wesentlich betroffen.

Nun gehört zu unseren allerundeutlichsten Einrichtungen jedenfalls das Kaisertum. In Peking natürlich, gar in der Hofgesellschaft, besteht darüber einige Klarheit, wiewohl auch diese eher scheinbar als wirklich ist. Auch die Lehrer des Staatsrechtes und der Geschichte an den hohen Schulen geben vor, über diese Dinge genau unterrichtet zu sein und diese Kenntnis den Studenten weitervermitteln zu können. Je tiefer man zu den unteren Schulen herabsteigt, desto mehr schwinden begreiflicherweise die Zweifel am eigenen Wissen, und Halb- bildung wogt bergehoch um wenige seit Jahrhunderten eingerammte Lehrsätze, die zwar nichts an ewiger Wahrheit verloren haben, aber in diesem Dunst und Nebel auch ewig unerkant bleiben.

Gerade über das Kaisertum aber sollte man meiner Meinung nach das Volk befragen, da doch das Kaisertum seine letzten Stützen dort hat. Hier kann ich allerdings wieder nur von meiner Heimat sprechen. Außer den Feldgottheiten und ihrem das ganze Jahr so abwechslungsreich und schön erfüllenden Dienst gilt unser Denken nur

и красоты, — все наши помыслы отданы только императору. Но не теперешнему. Или, вернее, они были бы обращены и к теперешнему, если бы мы его видели или узнали о нем что-нибудь определенное. Правда, только он и вызывал в нас любопытство — мы всегда стремились узнать хоть что-то на его счет, но, как ни странно, узнать ничего не удавалось ни от паломника, который побывал во многих областях страны, ни в ближних, ни в дальних деревнях, ни от матросов, плавающих ведь не только по нашим речушкам, но и по большим священным рекам. Слухов ходило множество, однако ничего достоверного из них почерпнуть мы не могли.

Так обширна наша страна, что никакой сказке не охватить ее, едва удастся небу дотянуться от края до края, и Пекин на ней — только точка, а дворец императора — только точка. Но император как понятие, конечно, огромен, он высится сквозь все этажи вселенной. А живой император — такой же человек, как мы, подобно нам, лежит он на ложе, и хоть оно тщательно измерено, но все относительно весьма узкое и короткое. Как и мы, он порой потягивается и, если очень устал, зеваает тонко очерченным ртом. А как можем мы об этом узнать, мы, живущие за тысячи миль к югу, почти у границы Тибетского высокогорья? Да и кроме того, всякая весть если бы и дошла до нас, то слишком поздно и давно устарела бы. Вокруг императора теснится толпа блистательных и все же сомнительных придворных-злоба и вражда, переодетые слугами и друзьями, — это противовес императорской власти, они всегда стремятся своими ядовитыми стрелами

dem Kaiser. Aber nicht dem gegenwärtigen; oder vielmehr es hätte dem gegenwärtigen gegolten, wenn wir ihn gekannt, oder Bestimmtes von ihm gewußt hätten. Wir waren freilich -die einzige Neugierde, die uns erfüllte — immer bestrebt, irgend etwas von der Art zu erfahren, aber so merkwürdig es klingt, es war kaum möglich, etwas zu erfahren nicht vom Pilger, der doch viel Land durchzieht, nicht in den nahen, nicht in den fernen Dörfern, nicht von den Schiffern, die doch nicht nur unsere Flüßchen, sondern auch die heiligen Ströme befahren. Man hörte zwar viel, konnte aber dem Vielen nichts entnehmen.

So groß ist unser Land, kein Märchen reicht an seine Größe, kaum der Himmel umspannt es — und Peking ist nur ein Punkt und das kaiserliche Schloß nur ein Pünktchen. Der Kaiser als solcher allerdings wiederum groß durch alle Stockwerke der Welt. Der lebendige Kaiser aber, ein Mensch wie wir, liegt ähnlich wie wir auf einem Ruhebett, das zwar reichlich bemessen, aber doch möglicherweise nur schmal und kurz ist. Wie wir streckt er manchmal die Glieder, und ist er sehr müde, gähnt er mit seinem zartgezeichneten Mund. Wie aber sollten wir davon erfahren -tausende Meilen im Süden -, grenzen wir doch schon fast ans tibetanische Hochland. Außerdem aber käme jede Nachricht, selbst wenn sie uns erreichte, viel zu spät, wäre längst veraltet. Um den Kaiser drängt sich die glänzende und doch dunkle Menge des Hofstaates — Bosheit und Feindschaft im Kleid der Diener und Freunde -, das Gegengewicht des Kaisertums, immer bemüht, mit vergifteten Pfeilen den Kaiser von seiner Wagschale ab-

сбить императора с чаши весов. Императорская власть как понятие бессмертна, но отдельных императоров свергают с престола, даже целые династии в конце концов сходят на нет и, вдруг захрипев, испускают дух. Об этой борьбе и страданиях народ никогда не узнает своевременно, как чужаки, как пришедшие слишком поздно, стоят простые люди в конце битком набитых улочек, спокойно жуя захваченные с собой припасы, а далеко впереди, посередине рыночной площади совершается казнь их владыки.

Существует предание, в котором неведение народа очень хорошо отражено. Тебе, говорится в нем, жалкому подданному, крошечной тени, бежавшей от солнечного блеска императора в самую далекую даль, именно тебе император послал со своего смертного ложа некую весть.

Он приказал вестнику опуститься на колени возле своего ложа и шепотом сообщил ему весть. И так как императору очень важно было, чтобы она дошла по назначению, он заставил вестника повторить эту весть ему на ухо. Кивком подтвердил император правильность сказанного. И при всех свидетелях его кончины, — мешающие стены были снесены, и на широких, уходящих ввысь лестницах выстроилась кругом вся знать государства, — при всех них император отправляет своего вестника. Вестник тотчас пускается в путь: это сильный, неутомимый человек; действуя то одной рукой, то другой, прокладывает он себе путь среди собравшихся; а если ему сопротивляются, он указывает себе на грудь, на которой знак солнца; и он легко, как никто другой, продвигается вперед. Но тол-

zuschießen. Das Kaisertum ist unsterblich, aber der einzelne Kaiser fällt und stürzt ab, selbst ganze Dynastien sinken endlich nieder und veratmen durch ein einziges Röcheln. Von diesen Kämpfen und Leiden wird das Volk nie erfahren, wie Zu-spät-gekommene, wie Stadtfremde stehen sie am Ende der dichtgedrängten Seitengassen, ruhig zehrend vom mitgebrachten Vorrat, während auf dem Marktplatz in der Mitte weit vorn die Hinrichtung ihres Herrn vor sich geht.

Es gibt eine Sage, die dieses Verhältnis gut ausdrückt. Der Kaiser, so heißt es, hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft zugeflüstert; so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr wiedersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes — alle hindern den Wände werden niedergebroschen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reiches — vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann; einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge; findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist; er kommt auch leicht vorwärts wie kein anderer. Aber die Menge ist so groß; ihre Wohnstätten nehmen kein

па так огромна, ее обиталищам не видно конца. Если бы перед ним открылось широкое поле, как он помчался бы, и ты, наверно, вскоре услышал бы торжественные удары его кулаков в твою дверь. Но вместо этого он бесплодно растрчивает свои усилия; он все еще проталкивается через покои по внутренней части дворца; никогда он их не одолеет; и если бы даже это ему удалось, он ничего бы не достиг: ведь ему пришлось бы пробираться вниз по лестницам, а если бы и это удалось, он все равно ничего бы не достиг; потом, надо же было пройти дворы; а после дворов-второй, наружный дворец; и снова лестницы и двери; и еще один дворец; и так в течение тысячелетий; а если бы он наконец вырвался из самых последних ворот-хотя этого никогда, никогда не случится, – прежде всего перед ним окажется резиденция, центр мира, переполненная доверху осевшими в ней людьми; никто через нее не пройдет, даже несущий весть от усопшего. Ты же, сидя у своего окна, воображаешь себе эту весть, когда приходит вечер.

Именно с такой вот безнадежностью и надеждой взирает наш народ на императора. Он не знает, какой император правит, и даже относительно имени династии возникают сомнения. В школе его учат всему по порядку, но всеобщая неуверенность столь велика, что даже лучший ученик попадает под ее влияние. Давно умершие императоры возводятся нашей деревней на престол, и тот, кто жив уже только в песне, совсем недавно выпустил обращение, и священник читал его с кафедры. Сражения нашей древнейшей истории гремят лишь сей-

Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest Du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an Deiner Tür. Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; immer noch zwingt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes; niemals wird er sie überwinden; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Treppen hinab müßte er sich kämpfen; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Höfe wären zu durchmessen; und nach den Höfen der zweite umschließende Palast; und wieder Treppen und Höfe; und wieder ein Palast; und so weiter durch Jahrtausende; und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor – aber niemals, niemals kann es geschehen -, liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten.- Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, wenn der Abend kommt.

Genau so, so hoffnungslos und hoffnungsvoll, sieht unser Volk den Kaiser. Es weiß nicht, welcher Kaiser regiert, und selbst über den Namen der Dynastie bestehen Zweifel. In der Schule wird vieles dergleichen der Reihe nach gelernt, aber die allgemeine Unsicherheit in dieser Hinsicht ist so groß, daß auch der beste Schüler mit in sie gezogen wird. Längst verstorbene Kaiser werden in unseren Dörfern auf den Thron gesetzt, und der nur noch im Liede lebt, hat vor kurzem eine Bekanntmachung erlassen, die der Priester vor dem Altare verliest. Schlachten unserer ältesten Geschich-

час, и сосед с пылающими щеками врывается к тебе в дом с этим известием. Императорские жены, раскормленные на шелках своих подушек, отученные хитрыми придворными от благородной нравственности, раздувшись от жажды власти, вздрагивая от алчности, расprostертые в сладострастии, совершают все вновь и вновь свои злодеяния. Чем больше времени прошло с тех пор, тем грознее пылают краски, и громким и горестным воплем встречает деревня однажды весть о том, как одна императрица тысячелетия назад пила большими глотками кровь своего мужа.

Так относится народ к давно умершим властителям, а живых смешивает с мертвыми. И если один-единственный раз в жизни целого поколения какой-нибудь заезжий императорский чиновник, инспектурируя провинцию, попадет случайно в нашу деревню, предъявит от имени правящего императора какие-нибудь требования — он проверяет список налогов, присутствует на уроке в школе, расспрашивает священника о нашем житье-бытье — и, перед тем как сесть в паланкин, вложит все это в длинные наказы, с которыми обратится к согнанной сельской общине, то по всем лицам заскользит улыбка, люди будут тайком переглядываться и наклоняться к детям, чтобы чиновник не видел их лиц. Как же так, будут дивиться люди, он говорит о мертвом, словно о живом, а ведь этот император давным-давно умер и династия угасла, — господин чиновник смеется над нами, но мы делаем вид, будто ничего не замечаем, чтобы не обидеть его. На самом же деле мы будем послушны только

те werden jetzt erst geschlagen und mit glühendem Gesicht fällt der Nachbar mit der Nachricht dir ins Haus. Die kaiserlichen Frauen überfüttert in den seidenen Kissen, von schlaun Höflingen der edlen Sitte entfremdet, anschwellend in Herrschsucht, auffahrend in Gier, ausgebreitet in Wollust, verüben ihre Untaten immer wieder von neuem. Je mehr Zeit schon vergangen ist, desto schrecklicher leuchten alle Farben, und mit lautem Wehgeschrei erfährt einmal das Dorf, wie eine Kaiserin vor Jahrtausenden in langen Zügen ihres Mannes Blut trank.

So verfährt also das Volk mit den vergangenen, die gegenwärtigen Herrscher aber mischt es unter die Toten. Kommt einmal, einmal in einem Menschenalter, ein kaiserlicher Beamter, der die Provinz bereist, zufällig in unser Dorf, stellt im Namen der Regierenden irgendwelche Forderungen, prüft die Steuerlisten, wohnt dem Schulunterricht bei, befragt den Priester über unser Tun und Treiben, und faßt dann alles, ehe er in seine Sänfte steigt, in langen Ermahnungen an die herbeigetriebene Gemeinde zusammen, dann geht ein Lächeln über alle Gesichter, einer blickt verstohlen zum andern und beugt sich zu den Kindern hinab, um sich vom Beamten nicht beobachten zu lassen. Wie, denkt man, er spricht von einem Toten wie von einem Lebendigen, dieser Kaiser ist doch schon längst gestorben, die Dynastie ausgelöscht, der Herr Beamte macht sich über uns lustig, aber wir tun so, als ob wir es nicht merken, um ihn nicht zu kränken. Ernstlich gehorchen aber werden wir nur unserem gegenwärtigen Herrn, denn alles andere wäre Versündigung. Und

нашему теперешнему повелителю, ибо все остальное было бы грехом. И позади спешащего прочь паланкина с чиновником как будто встает какой-то самовольно поднятый из гробовой урны и полуразложившийся мертвец и властно топает ногой, словно он повелитель деревни.

Как правило, так же мало затрагивают людей у нас всякие государственные перемены и современные войны. Мне вспоминается по этому поводу один случай из моей юности. В соседней, но все же очень отдаленной от нас провинции вспыхнуло восстание. Причин я уже не помню, да и не в них дело. Народ там беспокойный, и что ни день, то появляются поводы для восстания. И вот однажды какой-то нищий, проходивший через ту провинцию, принес в дом моего отца листовку мятежников. Был как раз праздник, комнаты были полны народа, на почетном месте сидел священник и изучал листовку. Вдруг все начали хохотать, листовку в толчее разорвали, нищего, которому, правда, уже всего надарили, вытолкали взащей из комнаты, все собравшиеся выбежали на улицу. Почему? Дело в том, что диалект соседней провинции существенно отличается от нашего, это сказывается и в известных формах письменности, которые нам кажутся старинными. Едва священник успел прочесть две страницы листовки, как вопрос был решен. Старые дела, давно слыхали, давно переболели. И хотя от нищего — как мне представляется, когда я вспоминаю этот случай, — явно веяло жестокостью теперешней жизни, люди, смеясь, покачали головами и больше ничего не желали слушать. Так у нас всегда готовы заглушить голоса современности.

hinter der davoneilenden Sänfte des Beamten steigt irgendein willkürlich aus schon zerfallener Urne Gehobener aufstampfend als Herr des Dorfes auf.

Ähnlich werden die Leute bei uns von staatlichen Umwälzungen, von zeitgenössischen Kriegen in der Regel wenig betroffen. Ich erinnere mich hier an einen Vorfall aus meiner Jugend. In einer benachbarten, aber immerhin sehr weit entfernten Provinz war ein Aufstand ausgebrochen. Die Ursachen sind mir nicht mehr erinnerlich, sie sind hier auch nicht wichtig, Ursachen für Aufstände ergeben sich dort mit jedem neuen Morgen, es ist ein aufgeregtes Volk. Und nun wurde einmal ein Flugblatt der Aufständischen durch einen Bettler, der jene Provinz durchreist hatte, in das Haus meines Vaters gebracht. Es war gerade ein Feiertag, Gäste füllten unsere Stuben, in der Mitte saß der Priester und studierte das Blatt. Plötzlich fing alles zu lachen an, das Blatt wurde im Gedränge zerrissen, der Bettler, der allerdings schon reichlich beschenkt worden war, wurde mit Stößen aus dem Zimmer gejagt, alles zerstreute sich und lief in den schönen Tag. Warum? Der Dialekt der Nachbarprovinz ist von dem unseren wesentlich verschieden, und dies drückt sich auch in gewissen Formen der Schriftsprache aus, die für uns einen alttertümlichen Charakter haben. Kaum hatte nun der Priester zwei derartige Seiten gelesen, war man schon entschieden. Alte Dinge, längst gehört, längst verschmerzt. Und obwohl — so scheint es mir in der Erinnerung — aus dem Bettler das grauenhafte Le-

Если бы из таких явлений мы сделали вывод, что, в сущности, у нас никакого императора нет, мы были бы не столь далеки от истины. И я повторяю все вновь и вновь:

может быть, нет более верного императору народа, чем наши южане, но верность эта ему не на пользу. Правда, на маленькой колонне у входа в деревню стоит священный дракон и с незапамятных времен почтительно посылает свое огненное дыхание точно в сторону Пекина, но сам Пекин людям в деревне более чужд, чем потусторонняя жизнь. Неужели существует такая деревня, где дома построены вплотную друг к другу, покрывая поля, и она тянется дальше, чем хватает взгляд с нашего холма, а среди этих домов днем и ночью стоят люди сплошными шеренгами? Нам труднее представить себе такой город, чем поверить, будто Пекин и его император составляют нечто единое, вроде облака, которое с течением времени спокойно меняется в солнечных лучах.

Следствием подобных мыслей является до известной степени свободная, никому не подвластная жизнь. Она отнюдь не безнравственная – такой чистоты нравов, как в моем родном краю, я, пожалуй, нигде не видел, сколько ни ездил по свету. Все же это такая жизнь, которая не подчинена никакому современному закону, а следует только предписаниям и предостережениям, дошедшим до нас из глубокой древности.

Я не решусь делать обобщения и не буду утверждать, что так же обстоит дело во всех десяти тысячах деревень нашей провинции, а тем более во всех пятистах

ben unwiderleglich sprach, schüttelte man lachend den Kopf und wollte nichts mehr hören. So bereit ist man bei uns, die Gegenwart auszulöschen.

Wenn man aus solchen Erscheinungen folgern wollte, daß wir im Grunde gar keinen Kaiser haben, wäre man von der Wahrheit nicht weit entfernt. Immer wieder muß ich sagen: Es gibt vielleicht kein kaisertreues Volk als das unsrige im Süden, aber die Treue kommt dem Kaiser nicht zugute. Zwar steht auf der kleinen Säule am Dorfausgang der heilige Drache und bläst huldigend seit Menschengedenken den feurigen Atem genau in die Richtung von Peking – aber Peking selbst ist den Leuten im Dorf viel fremder als das jenseitige Leben. Sollte es wirklich ein Dorf geben, wo Haus an Haus steht, Felder bedeckend, weiter als der Blick von unserem Hügel reicht und zwischen diesen Häusern stünden bei Tag und bei Nacht Menschen Kopf an Kopf? Leichter als eine solche Stadt sich vorzustellen ist es uns, zu glauben, Peking und sein Kaiser wäre eines, etwa eine Wolke, ruhig unter der Sonne sich wandelnd im Laufe der Zeiten.

Die Folge solcher Meinungen ist nun ein gewissermaßen freies, unbeherrschtes Leben. Keineswegs sittenlos, ich habe solche Sittenreinheit, wie in meiner Heimat, kaum jemals angetroffen auf meinen Reisen. – Aber doch ein Leben, das unter keinem gegenwärtigen Gesetze steht und nur der Weisung und Warnung gehorcht, die aus alten Zeiten zu uns herüberreicht.

Ich hüte mich vor Verallgemeinerungen und behaupte nicht, daß es sich in allen zehntausend Dörfern unserer Provinz so verhält oder gar in allen fünfhundert Pro-

провинциях Китая. И все-таки я могу утверждать на основании множества прочитанных мною трудов, а также моих собственных наблюдений — особенно при строительстве стены, когда человеческий материал давал чуткому исследователю возможность как бы читать в душах всех провинций, — на основании всего этого я могу почти с уверенностью утверждать, что образ императора всегда и повсюду выступал передо мной наделенный теми же основными чертами, как и в моих родных местах. Этому пониманию я вовсе не хочу придавать характер какой-то добродетели, напротив. И тут повинно главным образом правительство древнейшего государства в мире, которое до сих пор не оказалось способным или среди других дел не удалось придать понятию императорской власти такую ясность, чтобы она действовала непосредственно и непрерывно до самых дальних границ страны. С другой стороны, в этом сказывается и недостаточная сила воображения или веры у народа, которому никак не удается извлечь на свет затерявшийся в Пекине образ императора и во всей его живости и современности прижать к своей верноподданнической груди, которая только и жаждет хоть раз ощутить это прикосновение и в нем раствориться.

Итак, добродетелью подобное понимание не назовешь. Тем больше бросается в глаза, что именно эта слабость и служит одним из важнейших средств объединения нашего народа; и если позволить себе еще более смелый вывод, это именно та почва, на которой мы живем. И здесь обосновать упрек этому обстоя-

vinzen Chinas. Wohl aber darf ich vielleicht auf Grund der vielen Schriften, die ich über diesen Gegenstand gelesen habe, sowie auf Grund meiner eigenen Beobachtungen — besonders bei dem Mauerbau gab das Menschenmaterial dem Fühlenden Gelegenheit, durch die Seelen fast aller Provinzen zu reisen — auf Grund alles dessen darf ich vielleicht sagen, daß die Auffassung, die hinsichtlich des Kaisers herrscht, immer wieder und überall einen gewissen und gemeinsamen Grundzug mit der Auffassung in meiner Heimat zeigt. Die Auffassung will ich nun durchaus nicht als eine Tugend gelten lassen, im Gegenteil. Zwar ist sie in der Hauptsache von der Regierung verschuldet, die im ältesten Reich der Erde bis heute nicht imstande war oder dies über anderem vernachlässigte, die Institution des Kaisertums zu solcher Klarheit auszubilden, daß sie bis an die fernsten Grenzen des Reiches unmittelbar und unablässig wirke. Andererseits aber liegt doch auch darin eine Schwäche der Vorstellungs- oder Glaubenskraft beim Volke, welches nicht dazu gelangt, das Kaisertum aus der Pekinger Versunkenheit in aller Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit an seine Untertanenbrust zu ziehen, die doch nichts besseres will, als einmal diese Berührung zu fühlen und an ihr zu vergehen.

Eine Tugend ist also diese Auffassung wohl nicht. Um so auffälliger ist es, daß gerade diese Schwäche eines der wichtigsten Einigungsmittel unseres Volkes zu sein scheint; ja, wenn man sich im Ausdruck soweit vorwagen darf, geradezu der Boden, auf dem wir leben. Hier einen Tadel ausführlich begründen, heißt nicht an unserem Gewissen,

тельству – значит не только посягнуть на нашу совесть, но – что гораздо важнее – на фундамент всего государства. Поэтому я в исследовании данного вопроса пока дальше не пойду.

год: 1917

перевод: В. Станевич

К вопросу о законах

Наши законы известны немногим, они – тайна маленькой кучки аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены, что эти старинные законы в точности соблюдаются, но все же чрезвычайно мучительно, когда тобой управляют по законам, которых ты не знаешь. Я имею при этом в виду не различные истолкования и тот ущерб, который наносится людям, когда в истолковании законов участвует не весь народ, а только единицы. Может быть, этот ущерб и не так уж велик. Ведь законы идут из глубокой древности, над их истолкованием люди трудились века, так что само истолкование теперь обрело силу закона, и хотя возможности свободного истолкования еще существуют, они уже стали весьма ограниченными. Нет никаких оснований предполагать, чтобы аристократия в угоду своим интересам допускала истолкования не в нашу пользу – ведь законы и так были с самого начала установлены в пользу аристократии, они на аристократию не распространяются, потому, видимо, и отданы целиком в ее руки. Конечно, в этом есть известная доля мудрости – кто же сомневается в мудрости древних законов? – но для нас в этом есть и мука, что, вероятно, неизбежно.

sondern, was viel ärger ist, an unseren Beinen rütteln. Und darum will ich in der Untersuchung dieser Frage vorderhand nicht weiter gehen.

Zur Frage der Gesetze

Unsere Gesetze sind nicht allgemein bekannt, sie sind Geheimnis der kleinen Adelsgruppe, welche uns beherrscht. Wir sind davon überzeugt, daß diese alten Gesetze genau eingehalten werden, aber es ist doch etwas äußerst Quälendes, nach Gesetzen beherrscht zu werden, die man nicht kennt. Ich denke hierbei nicht an die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten und die Nachteile, die es mit sich bringt, wenn nur einzelne und nicht das ganze Volk an der Auslegung sich beteiligen dürfen. Diese Nachteile sind vielleicht gar nicht sehr groß. Die Gesetze sind ja so alt, Jahrhunderte haben an ihrer Auslegung gearbeitet, auch diese Auslegung ist wohl schon Gesetz geworden, die möglichen Freiheiten bei der Auslegung bestehen zwar immer noch, sind aber sehr eingeschränkt. Außerdem hat offenbar der Adel keinen Grund, sich bei der Auslegung von seinem persönlichen Interesse zu unseren Ungunsten beeinflussen zu lassen, denn die Gesetze sind ja von ihrem Beginne an für den Adel festgelegt worden, der Adel steht außerhalb des Gesetzes, und gerade deshalb scheint das Gesetz sich ausschließlich in die Hände des Adels gegeben zu haben. Darin liegt natürlich Weisheit – wer zweifelt die Weisheit der alten Gesetze an? -, aber eben auch Qual für uns, wahrscheinlich ist das unumgänglich.

Да и существование этих мнимых законов – только предположение. Лишь по традиции принято считать, что они существуют и доверены аристократии как тайна, но это всего-навсего традиционный взгляд, заслуживающий признания в силу своей древности, и ничего больше, ибо самый характер этих законов требует, чтобы их возникновение сохранялось в тайне.

Но если мы, в народе, внимательно проследим действия аристократии с древнейших времен, если мы, располагая записями наших предков по этому поводу, добросовестно их продолжим и среди бесчисленных фактов найдем как бы основные линии, позволяющие заключить о тех или иных исторических решениях, и если мы на основе этих тщательнейшим образом отобранных и систематизированных выводов попытаемся что-то установить для настоящего и будущего, то все это окажется весьма шатким, скорее, игрою ума, ибо тех законов, которые мы стараемся отгадать, быть может, вовсе и не существует. Есть маленькая партия, которая действительно так думает и пытается доказать, что если закон и существует, то он может гласить лишь одно: все, что делает аристократия, – закон. Эта партия видит только произвольные установления аристократии и отвергает народную традицию, приносящую, по мнению этой партии, лишь ничтожную и случайную пользу, а чаще всего серьезный вред, так как порождает в народе перед лицом грядущих событий ложную, обманчивую и легкомысленную уверенность. Такой вред нельзя отрицать, но подавляющее большинство

Übrigens können auch diese Scheingesetze eigentlich nur vermutet werden. Es ist eine Tradition, daß sie bestehen und dem Adel als Geheimnis anvertraut sind, aber mehr als alte und durch ihr Alter glaubwürdige Tradition ist es nicht und kann es nicht sein, denn der Charakter dieser Gesetze verlangt auch das Geheimhalten ihres Bestandes. Wenn wir im Volk aber seit ältesten Zeiten die Handlungen des Adels aufmerksam verfolgen, Aufschreibungen unserer Voreltern darüber besitzen, sie gewissenhaft fortgesetzt haben und in den zahllosen Tatsachen gewisse Richtlinien zu erkennen glauben, die auf diese oder jene geschichtliche Bestimmung schließen lassen, und wenn wir nach diesen sorgfältigst gesiebten und geordneten Schlußfolgerungen uns für die Gegenwart und Zukunft ein wenig einzurichten suchen – so ist das alles unsicher und vielleicht nur ein Spiel des Verstandes, denn vielleicht bestehen diese Gesetze, die wir hier zu erraten suchen, überhaupt nicht. Es gibt eine kleine Partei, die wirklich dieser Meinung ist und die nachzuweisen sucht, daß, wenn ein Gesetz besteht, es nur lauten kann: Was der Adel tut, ist Gesetz. Diese Partei sieht nur Willkürakte des Adels und verwirft die Volkstradition, die ihrer Meinung nach nur geringen zufälligen Nutzen bringt, dagegen meistens schweren Schaden, da sie dem Volk den kommenden Ereignissen gegenüber eine falsche, trügerische, zu Leichtsinne führende Sicherheit gibt. Dieser Schaden ist nicht zu leugnen, aber die bei weitem überwiegende Mehrheit unseres Volkes sieht die Ursache dessen darin, daß die Tradition noch bei weitem nicht ausreicht, daß also noch viel mehr in ihr geforscht werden muß und daß allerdings auch ihr Material, so riesenhaft

СПРЯТАННАЯ ПРИТЧА

нашего народа видит его причину в том, что традиция далеко не все охватывает, ее нужно исследовать гораздо глубже и даже содержащийся в ней материал, как бы он ни был огромен, все же слишком недостаточен, и должны еще пройти века, прежде чем она все охватит; унылость этих перспектив озаряется в настоящем лишь верой в такие времена, когда наконец наступит пауза, завершатся следования традиции, все станет ясно и закон будет принадлежать только народу, а аристократия исчезнет. Это говорится не с ненавистью к аристократии, отнюдь нет, и ни с чьей стороны ее нет. Скорее, ненавидим мы самих себя за то, что нам еще нельзя доверить закон. Поэтому и упомянутая партия, в известном смысле весьма соблазнительная, не верит, по сути дела, ни в какой закон и осталась такой немногочисленной, ибо она в полной мере признает аристократию и ее право на существование.

Это можно выразить с помощью своеобразного парадокса: если бы какая-нибудь партия вместе с верой в закон вышвырнула и аристократию, на ее стороне оказался бы тотчас весь народ; но такая партия не может возникнуть, ибо никто не дерзает вышвырнуть аристократию. На этом лезвии ножа мы и живем. Один писатель некогда сформулировал это следующим образом: единственный зримый, бесспорный закон, подчиняться которому мы обязаны, - это аристократия, и ради этого единственного закона мы должны утратить самих себя?

год: 1920

перевод: В. Станевич

es scheint, noch viel zu klein ist und daß noch Jahrhunderte vergehen müssen, ehe es genügen wird. Das für die Gegenwart Trübe dieses Ausblicks erhellt nur der Glaube, daß einmal eine Zeit kommen wird, wo die Tradition und ihre Forschung gewissermaßen aufatmend den Schlußpunkt macht, alles klar geworden ist, das Gesetz nur dem Volk gehört und der Adel verschwindet. Das wird nicht etwa mit Haß gegen den Adel gesagt, durchaus nicht und von niemandem. Eher hassen wir uns selbst, weil wir noch nicht des Gesetzes gewürdigt werden können. Und darum eigentlich ist jene in gewissem Sinn doch sehr verlockende Partei, welche an kein eigentliches Gesetz glaubt, so klein geblieben, weil auch sie den Adel und das Recht seines Bestandes vollkommen anerkennt.

Man kann es eigentlich nur in einer Art Widerspruch ausdrücken: Eine Partei, die neben dem Glauben an die Gesetze auch den Adel verwerfen würde, hätte sofort das ganze Volk hinter sich, aber eine solche Partei kann nicht entstehen, weil den Adel niemand zu verwerfen wagt. Auf dieses Messers Schneide leben wir. Ein Schriftsteller hat das einmal so zusammengefaßt: Das einzige, sichtbare, zweifellose Gesetz, das uns auferlegt ist, ist der Adel und um dieses einzige Gesetz sollten wir uns selbst bringen wollen?

Пятое занятие

В нашей синагоге

В нашей синагоге живет зверек величиной с куницу. Он часто очень хорошо виден, на расстояние примерно до двух метров он подпускает людей. Окраска у него голубовато-зеленоватая. До его меха еще никто не дотрагивался, насчет этого, стало быть, ничего нельзя сказать, думается даже, что и настоящий цвет меха его неизвестен, а видимый цвет получился только от пыли и от извести, забившейся в шерсть, ведь цвет этот походит и на штукатурку внутри синагоги, только он немного светлее. Если бы не его пугливость, это был бы необыкновенно спокойный, малоподвижный зверек; если бы его так часто не вспугивали, он вряд ли менял бы место, любимое его местопребывание-решетка женского отделения, он с явным удовольствием вцепляется в петли решетки, вытягивается и смотрит вниз в молельню, эта смелая поза, кажется, радует его, но службе наказано сгонять зверька с решетки, а то он привыкнет к этому месту, чего из-за женщин, которые боятся зверька, допустить нельзя. Почему они боятся его, неясно. Правда, на первый взгляд он страшноват, особенно длинная шея, треугольная мордочка, почти горизонтально торчащие верхние зубы, над верхней губой ряд длинных, нависающих над зубами, явно очень жестких, светлых щетинистых волос, все это может испугать, но вскоре видишь, как неопасна вся эта кажущаяся страшность. Прежде всего, он ведь старается держаться подальше от людей, он пугливей лесного зверька и ни к чему,

In unserer Synagoge

[In der Thamühler Synagoge lebt ein Tier von der Größe und Gestalt etwa eines Marders.

Die Synagoge von Thamühl ist ein einfacher kahler niedriger Bau aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts. So klein die Synagoge ist, so reicht sie doch völlig aus, denn auch die Gemeinde ist klein und verkleinert sich von Jahr zu Jahr. Schon jetzt macht es der Gemeinde Mühe die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen und es gibt Einzelne, welche offen sagen, daß ein kleines Betzimmer durchaus dem Gottesdienst genügen würde]

In unserer Synagoge lebt ein Tier in der Größe etwa eines Marders. Es ist oft sehr gut zu sehn, bis auf eine Entfernung von etwa zwei Metern duldet es das Herankommen der Menschen. Seine Farbe ist ein helles Blaugrün. Sein Fell hat noch niemand berührt, es läßt sich also darüber nichts sagen, fast möchte man behaupten, daß auch die wirkliche Farbe des Felles unbekannt ist, vielleicht stammt die sichtbare Farbe nur vom Staub und Mörtel die sich im Fell verfangen haben, die Farbe ähnelt ja auch dem Verputz des Synagogeninnern, nur ist sie ein wenig heller. Es ist, von seiner Furchtsamkeit abgesehn, ein ungemein ruhiges seßhaftes Tier; würde es nicht so oft aufgescheucht werden, es würde wohl den Ort kaum wechseln, sein Lieblingsaufenthalt ist das Gitter der Frauenabteilung, mit sichtbarem Behagen krallt es sich in die Maschen des Gitters, streckt sich und blickt hinab in den Betraum, diese kühne Stellung scheint es zu freuen, aber der Tempeldie-

кроме самого здания, кажется, не привязан, и личная беда его состоит, видимо, в том, что здание это – синагога, а значит, порой очень оживленное место. Если бы можно было со зверьком объясниться, его можно было бы хотя бы утешить тем, что община нашего горного городка из года в год уменьшается и ей уже трудно добывать средства на содержание синагоги. Не исключено, что через некоторое время синагога превратится в амбар или что-то подобное и что зверек обретет покой, которого у него сейчас, увы, нет.

Боятся зверька, впрочем, только женщины, мужчинам он давно безразличен, одно поколение показывало его другому, его видели снова и снова, наконец на него перестали обращать внимание, и даже дети, которые видят его впервые, уже не удивляются. Он стал домашним животным синагоги, почему бы синагоге не иметь особого, нигде больше не встречающегося домашнего животного? Если бы не женщины, то о существовании этого зверька, наверно, уже забыли бы. Но и женщины-то по-настоящему не боятся зверька, да и странно было бы бояться такого зверька изо дня в день, годами и десятилетиями. Они, однако, оправдываются тем, что зверек обычно гораздо ближе к ним, чем к мужчинам, и это верно. Спуститься вниз к мужчинам зверек не осмеливается, его никогда еще не видели на полу. Если его прогоняют от решетки женского отделения, он пребывает по крайней мере на той же высоте на противоположной стене. Там есть очень узкий выступ, шириной от силы в два пальца, он обходит три стены синагоги, по этому выступу зверек ино-

ner hat den Auftrag, das Tier niemals am Gitter zu dulden, es würde sich an diesen Platz gewöhnen und das kann man wegen der Frauen, die das Tier fürchten, nicht zulassen. Warum sie es fürchten, ist unklar. Es sieht allerdings beim ersten Anblick erschreckend aus, besonders der lange Hals, das dreikantige Gesicht, die fast wagrecht vorstehenden Oberzähne, über der Oberlippe eine Reihe langer, die Zähne überragender, offenbar ganz harter heller Borstenhaare; das alles kann erschrecken, aber bald muß man erkennen, wie ungefährlich dieser ganze scheinbare Schrecken ist. Vor allem hält es sich ja von den Menschen fern, es ist scheuer als ein Waldtier, es scheint mit nichts als mit dem Gebäude verbunden und sein persönliches Unglück besteht wohl darin, daß dieses Gebäude eine Synagoge ist, also ein zeitweilig sehr belebter Ort. Könnte man sich mit dem Tier verständigen, könnte man es allerdings damit trösten, daß die Gemeinde unseres Bergstädtchens von Jahr zu Jahr kleiner wird und es ihr schon Mühe macht die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in einiger Zeit aus der Synagoge ein Getreidespeicher wird oder dergleichen und daß das Tier die Ruhe bekommt, die ihm jetzt schmerzlich fehlt.

Es sind allerdings nur die Frauen, die das Tier fürchten, den Männern ist es längst gleichgültig geworden, eine Generation hat es der andern gezeigt, immer wieder hat man es gesehn, schließlich hat man keinen Blick mehr daran gewendet und selbst die Kinder, die es zum erstenmal sehn, staunen nicht mehr. Es ist das Haustier der Synagoge geworden, warum sollte nicht die Synagoge ein besonderes, nirgends sonst vorkommen-

гда шмыгает взад-вперед, но чаще он сидит на определенном месте напротив женщин. Почти непонятно, как ухитряется он с такой легкостью пользоваться этой узкой дорожкой, и замечательна ловкость, с какой он там, наверху, дойдя до конца, поворачивает обратно, это ведь уже очень старый зверек, но он не останавливается перед самыми смелыми прыжками, которые неудачными никогда не бывают, он повернется в воздухе и побежит назад той же дорожкой. Правда, увидев это несколько раз, вполне насыщаешься, и неотрывно смотреть на это не тянет. Да и женщин приводит в волнение не страх и не любопытство, будь они больше заняты молитвами, они совсем забыли бы о зверьке, благочестивые женщины и в самом деле забыли бы, если бы это допустили другие, которых гораздо больше, но тем всегда хочется обратить на себя внимание, а зверек для этого – удобный предлог. Если бы они осмелились, они приманили бы зверька еще ближе к себе, чтобы можно было пугаться еще сильнее. Но на самом-то деле зверек совсем не стремится к ним, если на него не нападают, ему до них так же нет дела, как и до мужчин, он рад был бы, наверно, оставаться в том уединении, в котором живет в часы, когда нет службы, по-видимому, в какой-нибудь еще не обнаруженной нами дыре в стене. Только когда начинают молиться, он появляется, вспугнутый шумом. Хочет ли он посмотреть, что случилось, хочет ли оставаться настороже, хочет ли быть свободным, способным к бегству? От страха он выбегает, от страха выделяет свои прыжки и не удаляется, пока не кончится богослужение. Высоту он предпочитает,

des Haustier haben? Wären nicht die Frauen man würde kaum mehr von der Existenz des Tieres wissen. Aber selbst die Frauen haben keine wirkliche Furcht vor dem Tier, es wäre auch zu sonderbar, ein solches Tier tagaus, tagein zu fürchten, jahre- und jahrzehntelang. Sie verteidigen sich zwar damit, daß ihnen das Tier meist viel näher ist als den Männern und das ist richtig. Hinunter zu den Männern wagt sich das Tier nicht, niemals hat man es noch auf dem Fußboden gesehn. Läßt man es nicht zum Gitter der Frauenabteilung, so hält es sich wenigstens in gleicher Höhe auf der gegenüberliegenden Wand auf. Dort ist ein ganz schmaler Mauervorsprung, kaum zwei Finger breit, er umläuft drei Seiten der Synagoge, auf diesem Vorsprung huscht das Tier manchmal hin und her, meistens aber hockt es ruhig auf einer bestimmten Stelle gegenüber den Frauen. Es ist fast unbegreiflich wie es diesen schmalen Weg so leicht benützen kann und die Art wie es dort oben, am Ende angekommen, wieder wendet, ist sehenswert, es ist doch schon ein sehr altes Tier, aber es zögert nicht den gewagtesten Luftsprung zu machen, der auch niemals mißlingt, in der Luft hat es sich umgedreht und schon läuft es wieder seinen Weg zurück. Allerdings wenn man das einigemal gesehen hat, ist man gesättigt und hat keinen Anlaß immerfort hinzustarren. Es ist ja auch weder Furcht noch Neugier, welche die Frauen in Bewegung hält, würden sie sich mehr mit dem Beten beschäftigen, könnten sie das Tier völlig vergessen, die frommen Frauen täten das auch, wenn es die ändern, welche die große Mehrzahl sind zuließen, diese aber wollen immer gern auf sich aufmerksam machen und das Tier ist ihnen dafür ein willkommenener Vorwand. Wenn sie es könnten und wenn sie es wag-

конечно, потому, что там безопаснее и бегать удобней всего по решетке и по стенному выступу, но он вовсе не всегда там, иногда он спускается ниже к мужчинам, занавес завета держится на блестящей медной перекладине, она, кажется, манит зверька, он довольно часто туда прокрадывается, но там он всегда спокоен, даже когда он у самого кивота, нельзя сказать, что он мешает, своими сверкающими, всегда открытыми, вероятно, без век, глазами он словно бы взирает на общину, но, конечно, ни на кого не глядит, а только подстерегает опасности, которые, как он чувствует, ему угрожают.

В этом отношении он, во всяком случае до недавнего времени, казался не более смышленным, чем наши женщины. Каких таких опасностей бояться ему? Кто собирается что-то ему сделать? Разве он целиком не предоставлен себе уже много лет? Мужчины не замечают его присутствия, а большинство женщин было бы, наверно, несчастно, если бы он исчез. А поскольку он единственное животное в этом доме, врагов у него вообще нет. Это он мог бы за долгие годы наконец-то уразуметь. Да и богослужение своим шумом, наверно, очень пугает зверька, а оно ведь регулярно и без перерывов повторяется в скромной мере по будням и в усиленном виде по праздникам; даже самый пугливый зверек мог бы уже привыкнуть к этому, особенно убедившись, что слышит не шум преследования, а шум, которого он просто не понимает. И все-таки этот страх! Память ли в нем о далеком прошлом или предчувствие будущего? Может быть, этот старый зверек знает больше, чем те три поколения, что

ten, hätten sie gewiß das Tier noch näher zu sich gelockt, um noch mehr erschrecken zu dürfen. Aber in Wirklichkeit drängt sich ja das Tier gar nicht zu ihnen, es kümmert sich, wenn es nicht angegriffen wird, um sie ebensowenig wie um die Männer, am liebsten würde es wahrscheinlich in der Verborgenheit bleiben, in der es in den Zeiten außerhalb des Gottesdienstes lebt, offenbar in irgendeinem Mauerloch, das wir noch nicht entdeckt haben. Erst wenn man zu beten anfängt, erscheint es, erschreckt durch den Lärm, will es sehn was geschehen ist, will es wachsam bleiben, will es frei sein, fähig zur Flucht, vor Angst läuft es hervor, aus Angst macht es seine Kapriolen und wagt sich nicht zurückzuziehn, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Die Höhe bevorzugt es natürlich deshalb, weil es dort am sichersten ist und die besten Laufmöglichkeiten hat es auf dem Gitter und dem Mauervorsprung, aber es ist keineswegs immer dort, manchmal steigt es auch tiefer zu den Männern hinab, der Vorhang der Bundeslade wird von einer glänzenden Messingstange getragen, die scheint das Tier zu locken, oft genug schleicht es hin, dort aber sitzt es immer ruhig, nicht einmal wenn es dort knapp bei der Bundeslade ist, kann man sagen daß es stört, mit seinen blanken, immer offenen, vielleicht lidlosen Augen scheint es die Gemeinde anzusehn, sieht aber gewiß niemanden an, sondern blickt nur den Gefahren entgegen, von denen es sich bedroht fühlt.

In dieser Hinsicht schien es, wenigstens bis vor kurzem, nicht viel verständiger als unsere Frauen. Was für Gefahren hat es denn zu fürchten? Wer beabsichtigt ihm etwas zu tun? Lebt es denn nicht seit vielen Jahren völlig sich selbst überlassen? Die Männer

собирались в синагоге в разные времена?

Много лет назад, так рассказывают, действительно были попытки прогнать зверька. Возможно, что это правда, но вероятнее, что это какие-то выдуманные истории. Достоверно известно, во всяком случае, что вопрос, можно ли терпеть зверька в Божьем доме, разбирали тогда с точки зрения религиозных законов. Были получены заключения разных раввинов, мнения разделились, большинство было за изгнание и за то, чтобы освятить Божий дом заново. Но легко было давать указания издали, в действительности же было невозможно поймать зверька, а потому невозможно и прогнать его. Ведь только поймав его и удалив, можно было быть более или менее уверенным, что избавились от него.

Много лет назад, так рассказывают, действительно попытались прогнать зверька. Служка будто бы помнит, что его дед, который тоже был служкой, любил об этом рассказывать. В детстве дед этот часто слышал, что от зверька невозможно избавиться, и с тех пор ему, отличному верхолазу, не давало покоя его честолубие, в одно светлое утро, когда все углы и уголки синагоги заливал солнечный свет, он прокрался туда, вооружившись веревкой, пращой и посохом.

год: 1922

перевод: С. Апта

kümmern sich nicht um seine Anwesenheit und die Mehrzahl der Frauen wäre wahrscheinlich unglücklich wenn es verschwände. Und da es das einzige Tier im Haus ist, hat es also überhaupt keinen Feind. Das hätte es nachgerade im Laufe der Jahre schon durchschauen können. Und der Gottesdienst mit seinem Lärm mag ja für das Tier sehr erschreckend sein, aber er wiederholt sich doch in bescheidenem Ausmaß jeden Tag und gesteigert an den Feststagen, immer regelmäßig und ohne Unterbrechung, auch das ängstlichste Tier hätte sich schon daran gewöhnen können, besonders wenn es sieht, daß es nicht etwa der Lärm von Verfolgern ist, sondern ein Lärm der es gar nicht betrifft. Und doch diese Angst. Ist es die Erinnerung an längst vergangene oder die Vorahnung künftiger Zeiten Weiß dieses alte Tier vielleicht mehr, als die drei Generationen, die jeweils in der Synagoge versammelt sind?

Vor vielen Jahren, so erzählt man, soll man wirklich versucht haben das Tier zu vertreiben. Es ist ja möglich daß es wahr ist, wahrscheinlicher aber ist es daß es sich nur um erfundene Geschichten handelt. Nachweisbar allerdings ist, daß man damals vom religionsgesetzlichen Standpunkt aus die Frage untersucht hat, ob man ein solches Tier im Gotteshaus dulden darf. Man holte die Gutachten verschiedener berühmter Rabbiner ein, die Ansichten waren geteilt, die Mehrheit war für die Vertreibung und Neueinweihung des Gotteshauses, aber es war leicht von der Ferne zu dekretieren, in Wirklichkeit war es ja unmöglich, das Tier zu vertreiben.

Der Tempeldiener will sich erinnern, das sein Großvater, der aich Tempeldiener gewesen ist, mit Vorliebe davon erzählte. Dieser Großvater habe als kleiner Junge öfters

von der Unmöglichkeit gehört, das Tier loszuwerden, da habe ihn, der ein ausgezeichneter Kletterer war, der Ehrgeiz nicht ruhen lassen, an einem hellen Vormittag, an dem die ganze Synagoge mit allen Winkeln und Verstecken im Sonnenlicht offen dalag, habe er sich hineingeschlichen, ausgerüstet mit einem Strick, einer Steinschleuder und einem Krummstock.

Гибрид

У меня есть необыкновенный зверек – полукошечка, полугненок. Он достался мне после отца в числе прочего наследства. Но окончательно развился уже у меня, раньше он был больше ягненок, чем кошечкой. Теперь у него от того и от другого почти поровну. От кошки – морда и когти, от ягненка – размер и строение тела; от обоих глаза, они сверкают диким блеском, а также шерстка – она у него мягкая и совсем гладкая; движения – он и скачет и крадется. Когда светит солнце, он свернется клубком на подоконнике и мурлычет, а на лужке носится как бешеный, так что его и не поймаешь. От кошки он убегает, на ягненка кидается. В лунные ночи кровельный желоб – излюбленное место его прогулок. Мяукать он не умеет, к мышам у него отвращение. Он может часами подстерегать добычу у курятника, но на убийство не соблазнился ни разу.

Я пою его подслащенным молоком, и это для него лучшая пища. Жадно сосет он молочко сквозь клыки хищного зверя.

Понятно, какая это забава для детишек. В воскресное утро у нас приемные часы. Я сажаю зверька к себе на колени, и меня обступают детвора со всей округи.

Eine Kreuzung

Ich habe ein eigentümliches Tier, halb Kätzchen, halb Lamm. Es ist ein Erbstück aus meines Vaters Besitz. Entwickelt hat es sich aber doch erst in meiner Zeit, früher war es viel mehr Lamm als Kätzchen. Jetzt aber hat es von beiden wohl gleich viel. Von der Katze Kopf und Krallen, vom Lamm Größe und Gestalt; von beiden die Augen, die flackernd und wild sind, das Fellhaar, das weich ist und knapp anliegt, die Bewegungen, die sowohl Hüpfen als Schleichen sind. Im Sonnenschein auf dem Fensterbrett macht es sich rund und schnurrt, auf der Wiese läuft es wie toll und ist kaum einzufangen. Vor Katzen flieht es, Lämmer will es anfallen. In der Mondnacht ist die Dachtraufe sein liebster Weg. Miauen kann es nicht und vor Ratten hat es Abscheu. Neben dem Hühnerstall kann es stundenlang auf der Lauer liegen, doch hat es noch niemals eine Mordgelegenheit ausgenutzt.

Ich nähre es mit süßer Milch, sie bekommt ihm bestens. In langen Zügen saugte es sie über seine Raubtierzähne hinweg in sich ein. Natürlich ist es ein großes Schauspiel für Kinder. Sonntag Vormittag ist Besuchsstunde. Ich habe das Tierchen auf dem Schoß und die Kinder der ganzen Nachbarschaft stehen um mich herum.

На меня сыплются самые невероятные вопросы, на которые никто не в силах ответить: откуда взялся такой зверек, отчего он очутился у меня, были ли раньше такие зверьки и как же будет, когда он умрет, скучно ли ему одному, почему у него нет детенышей, как его зовут – и все в таком роде.

Я не считаю нужным отвечать, а попросту, без лишних объяснений показываю то, что есть. Иногда ребята приносят с собой кошек, один раз притащили даже двух ягнят, но им пришлось разочароваться – никаких родственных чувств обнаружено не было.

Зверьки спокойно оглядели друг друга – звериный их взгляд сказал, что каждый мирится с существованием другого, как с волей providения.

У меня на коленях зверек не проявляет ни страха, ни кровожадности – прижмется ко мне и блаженствует. Он по-семейному привязан к тем, кто его вырастил. Но это вовсе не какая-то особенная преданность, а попросту верное чутье животного, у которого по белу свету рассеяно бесчисленное множество свойственников, но настоящей кровной родни, должно быть, нет вовсе, и потому мы для него – священный оплот. Мне даже смешно становится, когда мой зверек начинает меня обнюхивать, вьется вокруг ног и боится хоть на миг расстаться со мной. Видно, ему мало быть ягненком и кошкой – ему хочется стать еще и собакой.

Однажды у меня выдался такой день, какие бывают у всякого, когда все в делах ползет по швам, и не видно выхода, и хочется на все махнуть рукой, и вот, полу-

Da werden die wunderbarsten Fragen gestellt, die kein Mensch beantworten kann: Warum es nur ein solches Tier gibt, warum gerade ich es habe, ob es vor ihm schon ein solches Tier gegeben hat und wie es nach seinem Tode sein wird, ob es sich einsam fühlt, warum es keine Jungen hat, wie es heißt und so weiter.

Ich gebe mir keine Mühe zu antworten, sondern begnüge mich ohne weitere Erklärungen damit, das zu zeigen, was ich habe. Manchmal bringen die Kinder Katzen mit, einmal haben sie sogar zwei Lämmer gebracht. Es kam aber entgegen ihren Erwartungen zu keinen Erkennungsszenen. Die Tiere sahen einander ruhig aus Tieraugen an und nahmen offenbar ihr Dasein als göttliche Tatsache gegenseitig hin.

In meinem Schoß kennt das Tier weder Angst noch Verfolgungslust. An mich angeschmiegt, fühlt es sich am wohlsten. Es hält zur Familie, die es aufgezogen hat. Es ist das wohl nicht irgendeine außergewöhnliche Treue, sondern der richtige Instinkt eines Tieres, das auf der Erde zwar unzählige Verschwägerte, aber vielleicht keinen einzigen Blutsverwandten hat und dem deshalb der Schutz, den es bei uns gefunden hat, heilig ist.

Manchmal muss ich lachen, wenn es mich umschnuppert, zwischen den Beinen sich durchwindet und gar nicht von mir zu trennen ist. Nicht genug damit, dass es Lamm und Katze ist, will es fast auch noch ein Hund sein. – Einmal als ich, wie es ja jedem geschehen kann, in meinen Geschäften und allem, was damit zusammenhängt, keinen Ausweg mehr finden konnte, alles verfallen lassen wollte und in solcher Verfassung zu Hause im Schaukelstuhl lag, das Tier auf dem Schoß, da tropften, als ich zufällig ein-

лежа в таком расположении духа у себя в качалке и держа зверька на руках, я невзначай опустил глаза и увидел, что с его косматой мордочки капая слезы – мои или его? Неужто же эта кошка с овечьей душой наделена вдобавок человеческим честолюбием? Немного унаследовал я от отца, но этот зверек дорогого стоит.

В нем слита неумная природа кошки и ягненка, как ни различны они между собой. Потому-то ему и тесно в его шкуре. Случается, вскочит мой зверек на соседнее кресло, упрется передними лапами в мое плечо, а носом тычется мне в ухо. Кажется, будто он что-то шепчет мне; и в самом деле, он тут же нагнется и заглянет мне в лицо, словно хочет проверить, как на меня подействовало его сообщение. Ему в угоду я киваю с понимающим видом. Тогда он прыгивает на пол и скачет вокруг меня.

Возможно, что нож мясника был бы для такого выродка избавлением. Но он – моя наследная доля, и я на эту жертву не пойду. Пусть дожидается, пока сам не испустит дух, хотя порой он и смотрит на меня разумным человеческим взглядом, призывающим поступить так, как велит мне разум.

год: 1917

перевод: Н. Касаткина

Забота главы семейства

Одни говорят, что слово «одрадек» славянского корня и пытаются на основании этого объяснить образование данного слова. Другие считают, что слово это немецкого происхождения, но испытало славянское влияние. Неуверенность обоих толкований приводит, однако, к

mal hinuntersah, von seinen riesenhaften Barthaaren Tränen. – Waren es meine, waren es seine? – Hatte diese Katze mit Lammesseele auch Menschenehrgeiz? – Ich habe nicht viel von meinem Vater geerbt, dieses Erbstück aber kann sich sehen lassen.

Es hat beiderlei Unruhe in sich, die von der Katze und die vom Lamm, so verschiedenartig sie sind. Darum ist ihm seine Haut zu eng. – Manchmal springt es auf den Sessel neben mir, stemmt sich mit den Vorderbeinen an meine Schulter und hält seine Schnauze an mein Ohr. Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden, und nicke. – Dann springt es hinunter auf den Boden und tänzelt umher.

Vielleicht wäre für dieses Tier das Messer des Fleischers eine Erlösung, die muss ich ihm aber als einem Erbstück versagen. Es muss deshalb warten, bis ihm der Atem von selbst ausgeht, wenn es mich manchmal auch wie aus verständigen Menschenaugen ansieht, die zu verständigem Tun aufordern.

Die Sorge des Hausvaters

Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen auf Grund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflusst. Die Unsicherheit beider Deutungen aber läßt wohl mit

справедливому, пожалуй, заключению, что оба неверны, тем более что ни одно из них не открывает смысла этого слова.

Конечно, никто не стал бы заниматься такими изысканиями, если бы действительно не было на свете существа по имени Одрадек. На первый взгляд оно походит на плоскую звездообразную шпульку для пряжи, да и впрямь кажется, что оно обтянуто пряжей; правда, это всего лишь какие-то спутавшиеся и свалывшиеся обрывки разнородной и разномастной пряжи. Но тут не только шпулька, тут из центра звезды выходит поперечная палочка, а к этой палочке прикреплена под прямым углом еще одна. С помощью этой последней палочки на одной стороне и одного из лучей звезды на другой все это может стоять как на двух ногах.

Напрашивается мысль, что это творение имело прежде какую-то целесообразную форму, а теперь просто сломалось. Но, кажется, это не так; во всяком случае, нет никаких признаков этого; нигде не видно ни отметин, ни изломов, которые бы указывали на что-то подобное; при всей кажущейся нелепости тут есть своего рода законченность. Подробнее, впрочем, об этом рассказать невозможно, поскольку Одрадек необычайно подвижен и поймать его нельзя.

Он пребывает попеременно на чердаке, на лестнице, в коридорах, в передней. Иногда его месяцами не видно; тогда он, вероятно, переселяется в другие дома; но потом он неукоснительно возвращается в наш дом. Порой, когда выходишь за дверь, а он как раз прислонился внизу к перилам, хочется заговорить с ним.

Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.

Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flache sternartige Zwirrspule, und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur abgerissene, alte, aneinandergesknotete, aber auch ineinanderverfilzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite, und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite, kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen.

Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein; wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden; das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist.

Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen; da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt; doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer,

Конечно, ему не задаешь трудных вопросов, с ним обращаешься – сама его крошечность подбивает на это – как с малым ребенком. «Как тебя зовут?» – спрашиваешь его. «Одрадек», – говорит он. «А где же ты живешь?» – «Без определенного местожительства», – говорит он и смеется; но это такой смех, который можно издать без легких. Он звучит примерно так, как шорох в упавших листьях. На этом беседа обычно кончается. Впрочем, даже такие ответы получишь не всегда; часто он долго безмолвствует, как деревяшка, каковую он, кажется, и представляет собой.

Напрасно спрашиваю себя, что с ним будет. Разве он может умереть? Все, что умирает, имело прежде какую-то цель, производило какие-то действия и от этого изнашивалось; об Одрадеке сказать этого нельзя. Значит, и под ноги моим детям и детям детей он еще будет когда-нибудь скатываться с лестницы, волоча за собой нитку? Он ведь явно никому не причиняет вреда; но представить себе, что он меня еще и переживет, мне почти мучительно.

год: 1917

перевод: С.Апта

Шакалы и арабы

Мы расположились на привал в оазисе. Спутники спали. Один араб, высокий и белый, прошел мимо меня; он задал корм верблюдам и пошел спать.

Я упал спиной в траву; я хотел спать; я не мог уснуть; жалобный вой шакала вдали; я снова сел. И то, что было так далеко, оказалось вдруг близко. Толкотня шака-

hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man an ihn keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn – schon seine Winzigkeit verführt dazu – wie ein Kind. “Wie heißt du denn?” fragt man ihn. “Odradek”, sagt er. “Und wo wohnst du?” “Unbestimmter Wohnsitz”, sagt er und lacht; es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascheln in gefallenem Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten; oft ist er lange stumm, wie das Holz, das er zu sein scheint.

Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben; das trifft bei Odradek nicht zu. Sollte er also einstmals etwa noch vor den Füßen meiner Kinder und Kindeskinde mit nachschleifendem Zwirnsfaden die Treppe hinunterkollern? Er schadet ja offenbar niemandem; aber die Vorstellung, daß er mich auch noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.

Schakale und Araber

Wir lagerten in der Oase. Die Gefährten schliefen. Ein Araber, hoch und weiß, kam an mir vorüber; er hatte die Kamele versorgt und ging zum Schlafplatz.

Ich warf mich rücklings ins Gras; ich wollte schlafen; ich konnte nicht; das Klagegeheul eines Schakals in der Ferne; ich saß wieder aufrecht. Und was so weit gewesen war,

лов вокруг меня; тусклым золотом вспыхивающие, потухающие глаза; гибкие тела, равномерно и юрко движущиеся, как под плетью.

Один подошел сзади, протиснулся под мою руку, тесно прижался ко мне, словно нуждаясь в моем тепле, затем встал передо мной, почти глаза в глаза:

– Я – старейший шакал в этих местах. Я счастлив, что еще могу приветствовать тебя здесь. Я уже почти оставил надежду, ибо мы ждем тебя бесконечно долго: моя мать ждала, и ее мать, и дальше все ее матери вплоть до матери всех шакалов. Поверь мне!

– Это удивляет меня, – сказал я и забыл зажечь дрова, которые лежали наготове, чтобы отпугивать шакалов их дымом, – мне очень удивительно это слышать. Я лишь случайно попал сюда с далекого севера и нахожусь в короткой поездке. Чего же вы хотите, шакалы?

И, как бы поощренные этим, возможно, слишком приветливым обращением, они плотнее сомкнули свой круг около меня; все дышали коротко и шипя.

– Мы знаем, – начал старейший, – что ты с севера, на этом-то и строится наша надежда. Там есть разум, которого не найти здесь, среди арабов. Из этого холодного высокомерия нельзя, понимаешь, высечь ни искры разума. Они убивают животных, чтобы пожирать их, а мертвечиной они пренебрегают.

– Не говори так громко, – сказал я, – поблизости спят арабы.

– Ты действительно чужеземец, – сказал шакал, – а то бы ты знал, что никогда за всю мировую историю шакал не боялся

war plötzlich nah. Ein Gewimmel von Schakalen um mich her; in mattem Gold erglänzende, verlöschende Augen; schlanke Leiber, wie unter einer Peitsche gesetzmäßig und flink bewegt.

Einer kam von rückwärts, drängte sich, unter meinem Arm durch, eng an mich, als brauche er meine Wärme, trat dann vor mich und sprach, fast Aug in Aug mit mir:

“Ich bin der älteste Schakal, weit und breit. Ich bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, denn wir warten unendlich lange auf dich; meine Mutter hat gewartet und ihre Mutter und weiter alle ihre Mütter bis hinauf zur Mutter aller Schakale. Glaube es!”

“Das wundert mich”, sagte ich und vergaß, den Holzstoß anzuzünden, der bereitlag, um mit seinem Rauch die Schakale abzuhalten, “das wundert mich sehr zu hören. Nur zufällig komme ich aus dem hohen Norden und bin auf einer kurzen Reise begriffen. Was wollt ihr denn, Schakale?”

Und wie ermutigt durch diesen vielleicht allzu freundlichen Zuspruch zogen sie ihren Kreis enger um mich; alle atmeten kurz und fauchend.

“Wir wissen”, begann der Älteste, “daß du vom Norden kommst, darauf eben baut sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Arabern nicht zu finden ist. Aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funken Verstand zu schlagen. Sie töten Tiere, um sie zu fressen, und Aas mißachten sie.”

“Rede nicht so laut”, sagte ich, “es schlafen Araber in der Nähe.”

“Du bist wirklich ein Fremder”, sagte der Schakal, “sonst wüßtest du, daß noch nie-

араба. С чего нам бояться их? Разве это не достаточное несчастье, что мы заброшены среди такого народа?

– Возможно, возможно, – сказал я, – я не осмеливаюсь судить о вещах, которые так далеки от меня; тут, кажется, очень старый спор; он, значит, наверно, в крови; значит, может быть, только кровью и кончится.

– Ты очень умен, – сказал старый шакал; и все задышали еще быстрее; изо всей силы легких, хотя и стояли не шевелясь; горький запах, который порой можно было вынести только сжав зубы, струился из их открытых пастей, – ты очень умен; то, что ты говоришь, соответствует нашему старому учению. Мы у них отнимем, значит, их кровь, и спор кончится.

– О! – сказал я вспльчивее, чем того хотел. – Они будут защищаться; они кучами перестреляют вас из своих ружей.

– Ты неверно понял нас, – сказал он, – по людскому обычаю, который, значит, и на дальнем севере тот же. Мы же не будем их убивать. В Ниле не хватило бы воды, чтобы нам отмыться. Мы же, стоит нам лишь увидеть их вживе, убегаем на более чистый воздух, в пустыню, которая поэтому и есть наша родина.

И все шакалы вокруг – а к ним тем временем прибежало издалека еще множество – опустили головы между передними ногами и стали скрести их лапами; казалось, им хотелось скрыть свое отвращение, настолько страшное, что лучше бы мне высоким прыжком вырваться из их круга.

– Что же вы намерены делать? – спросил я и попытался встать; но встать я не мог;

mals in der Weltgeschichte ein Schakal einen Araber gefürchtet hat. Fürchten sollten wir sie? Ist es nicht Unglück genug, daß wir unter solches Volk verstoßen sind?"

"Mag sein, mag sein", sagte ich, "ich maße mir kein Urteil an in Dingen, die mir so fern liegen; es scheint ein sehr alter Streit; liegt also wohl im Blut; wird also vielleicht erst mit dem Blute enden."

"Du bist sehr klug", sagte der alte Schakal; und alle atmeten noch schneller; mit getetzten Lungen, trotzdem sie doch stillstanden; ein bitterer, zeitweilig nur mit zusammengeklebten Zähnen erträglicher Geruch entströmte den offenen Mäulern, "du bist sehr klug; das, was du sagst, entspricht unserer alten Lehre. Wir nehmen ihnen also ihr Blut und der Streit ist zu Ende."

"Oh!" sagte ich wilder, als ich wollte, "sie werden sich wehren; sie werden mit ihren Flinten euch rudelweise niederschließen."

"Du mißverstehst uns", sagte er, "nach Menschenart, die sich also auch im hohen Norden nicht verliert. Wir werden sie doch nicht töten. So viel Wasser hätte der Nil nicht, um uns rein zu waschen. Wir laufen doch schon vor dem bloßen Anblick ihres lebenden Leibes weg, in reinere Luft, in die Wüste, die deshalb unsere Heimat ist."

Und alle Schakale ringsum, zu denen inzwischen noch viele von fern her gekommen waren, senkten die Köpfe zwischen die Vorderbeine und putzten sie mit den Pfoten; es war, als wollten sie einen Widerwillen verbergen, der so schrecklich war, daß ich am liebsten mit einem hohen Sprung aus ihrem Kreis entflohen wäre.

"Was beabsichtigt ihr also zu tun?" fragte ich und wollte aufstehen; aber ich konn-

два молодых зверя впились сзади зубами в мой пиджак и рубашку.

– Они держат твой шлейф, – объясняюще и серьезно сказал старый шакал, – это почесть.

– Пусть они отпустят меня! – воскликнул я, обращаясь то к старому, то к молодым.

– Они, конечно, отпустят, – сказал старый, – если ты этого требуешь. Но надо немного подождать, ибо, по обычаю, они глубоко впились зубами и должны медленно разжимать челюсти. Тем временем выслушай нашу просьбу.

– Ваше поведение сделало меня не очень восприимчивым к ней, – сказал я.

– Не наказывай нас за нашу неловкость, – сказал он и впервые теперь призвал на помощь жалобный тон своего природного голоса, – мы бедные звери; у нас есть только зубы; для всего, что мы хотим сделать, для хорошего и для плохого, в нашем распоряжении только зубы.

– Чего же ты хочешь? – спросил я, чуть смягчившись.

– Господин! – воскликнул он, и все шакалы завyli; совсем отдаленно это походило на какую-то мелодию. – Господин, ты должен закончить спор, который разделяет мир надвое. Таким, как ты, описали наши старики того, кто это сделает. Нам нужен от арабов покой; воздух, которым можно дышать; очищенный горизонт, на котором бы их нигде не было видно; чтобы не кричали ягнята, которых закалывает араб; пусть всякая живность издыхает спокойно; чтобы мы без помех выпивали из нее все и очищали ее до костей. Чистоты мы хотим, чистоты, ничего больше. – И тут все заплакали, зарыда-

те nicht; zwei junge Tiere hatten sich mir hinten in Rock und Hemd festgebissen; ich mußte sitzenbleiben. “Sie halten deine Schleppe”, sagte der alte Schakal erklärend und ernsthaft, “eine Ehrbezeugung.” “Sie sollen mich loslassen!” rief ich, bald zum Alten, bald zu den Jungen gewendet. “Sie werden es natürlich”, sagte der Alte, “wenn du es verlangst. Es dauert aber ein Weilchen, denn sie haben nach der Sitte tief sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebisse voneinander lösen. Inzwischen höre unsere Bitte.” “Euer Verhalten hat mich dafür nicht sehr empfänglich gemacht”, sagte ich. “Laß uns unser Ungeschick nicht entgelten”, sagte er und nahm jetzt zum erstenmal den Klage-ton seiner natürlichen Stimme zu Hilfe, “wir sind arme Tiere, wir haben nur das Gebiß; für alles, was wir tun wollen, das Gute und das Schlechte, bleibt uns einzig das Gebiß.” “Was willst du also?” fragte ich, nur wenig besänftigt.

“Herr” rief er, und alle Schakale heulten auf; in fernster Ferne schien es mir eine Melodie zu sein. “Herr, du sollst den Streit beenden, der die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben von den Arabern; atembare Luft; gereinigt von ihnen den Ausblick rund am Horizont; kein Klagegeschrei eines Hammels, den der Araber absticht; ruhig soll alles Getier krepieren; ungestört soll es von uns leerge-trunken und bis auf die Knochen gereinigt werden. Reinheit, nichts als Reinheit wollen wir”, – und nun weinten, schluchzten alle – “wie erträgst nur du es in dieser Welt, du edles Herz und süßes Eingeweide? Schmutz ist ihr Weiß; Schmutz ist ihr Schwarz; ein Grauen ist ihr Bart; speien muß man beim

ли. – Как в силах вы жить в этом мире, ты, благородное сердце, вы, сладостные внутренности? Их белое – это грязь; их черное – это грязь; их борода – это ужас; при виде уголков их глаз тошнит; а стоит им поднять руку, как под мышкой разверзается ад. Поэтому, о господин, поэтому, о дорогой господин, при помощи своих всемогущих рук, при помощи своих всемогущих рук перережь им глотки этими ножницами.

И, повинувшись движению его головы, пошел шакал, у которого на клыке висели маленькие, покрытые старой ржавчиной швейные ножницы.

– Ну, наконец, ножницы, и на том довольно! – воскликнул вожак арабов нашего каравана – он подкрался к нам против ветра и теперь замахивался своим огромным бичом.

Животные стремглав разбежались, но в некотором отдалении остановились, тесно сгрудившись, такой плотной и неподвижной толпой, что это походило на узкий плетень с блуждающими огоньками над ним.

– Итак, господин, и этот спектакль ты видел и слышал, – сказал араб и засмеялся настолько весело, насколько то позволяла сдержанность его племени.

– Ты знаешь, значит, чего хотят эти животные? – спросил я.

– Конечно, господин, – сказал он, – это же общеизвестно: пока существуют арабы, эти ножницы странствуют по пустыне и будут странствовать с нами до конца дней. Каждому европейцу предлагают их для этого великого дела; каждый европеец – как раз тот, кто им кажется при-

Anblick ihrer Augenwinkel; und heben sie den Arm, tut sich in der Achselhöhle die Hölle auf. Darum, o Herr, darum, o teurer Herr, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände schneide ihnen mit dieser Schere die Hälse durch!” Und einem Ruck seines Kopfes folgend kam ein Schakal herbei, der an einem Eckzahn eine kleine, mit altem Rost bedeckte Nähsschere trug.

“Also endlich die Schere und damit Schluß!” rief der Araberführer unserer Karawane, der sich gegen den Wind an uns herangeschlichen hatte und nun seine riesige Peitsche schwang.

Alles verlief sich eiligst, aber in einiger Entfernung blieben sie doch, eng zusammengekauert, die vielen Tiere so eng und starr, daß es aussah wie eine schmale Hürde, von Irrlichtern umflogen.

“So hast du, Herr, auch dieses Schauspiel gesehen und gehört”, sagte der Araber und lachte so fröhlich, als es die Zurückhaltung seines Stammes erlaubte. “Du weißt also, was die Tiere wollen?” fragte ich. “Natürlich, Herr”, sagte er, “das ist doch allbekannt; solange es Araber gibt, wandert diese Schere durch die Wüste und wird mit uns wandern bis ans Ende der Tage. jedem Europäer wird sie angeboten zu dem großen Werk; jeder Europäer ist gerade derjenige, welcher ihnen berufen scheint. Eine unsinnige Hoffnung haben diese Tiere; Narren, wahre Narren sind sie. Wir lieben sie deshalb; es sind unsere Hunde; schöner als die eurigen. Sieh nur, ein Kamel ist in der Nacht verendet, ich habe es herschaffen lassen.”

Vier Träger kamen und warfen den schweren Kadaver vor uns hin. Kaum lag er da, erhoben die Schakale ihre Stimmen. Wie

званным. Нелепая надежда есть у этих животных; глупцы они, истинные глупцы. Поэтому мы любим их: это наши собаки; они лучше ваших. Смотри-ка, ночью околел верблюд, я велел принести его.

Подошли четыре носильщика и бросили перед нами тяжелый труп. Как только он упал, шакалы подали голоса. Словно каждого неодолимо тянула веревка, они подбирались с заминками, задевая брюхом землю. Они забыли об арабах, забыли о ненависти, их заворожило всеуничтожающее присутствие этого трупа, от которого шел сильный запах. Один уже вцепился в шею и с первого же укуса нашел артерию. Как маленький неистовый насос, который во что бы то ни стало, но втуне пытается погасить огромный пожар, дергалась и дрожала на своем месте каждая мышца его тела. И вот уже все горой громоздились на трупе, занятые одной и той же работой.

Тут вожак стал хлестать их вдоль и поперек пронизывающим бичом. Они подняли головы; в полуопьянении-полуобмороке; увидели стоявших перед ними арабов, почувствовали теперь бич мордами; отпрыгнули прочь и отбежали немного назад. Но кровь верблюда уже растеклась лужами, дымилась, тело было широко разорвано во многих местах. Они не могли устоять; они были опять здесь; вожак опять замахнулся бичом; я схватил его за руку.

– Ты прав, господин, – сказал он, – оставим их за их занятием; да и пора трогаться. Ты видел их. Удивительные животные, правда? И до чего они нас ненавидят!

год: 1917

перевод: С.Апта

von Stricken unwiderstehlich jeder einzelne gezogen, kamen sie, stockend, mit dem Leib den Boden streifend, heran. Sie hatten die Araber vergessen, den Haß vergessen, die alles auslöschende Gegenwart des stark ausdunstenden Leichnams bezauberte sie. Schon hing einer am Hals und fand mit dem ersten Biß die Schlagader. Wie eine kleine rasende Pumpe, die ebenso unbedingt wie aussichtslos einen übermächtigen Brand löschen will, zerrte und zuckte jede Muskel seines Körpers an ihrem Platz. Und schon lagen in gleicher Arbeit alle auf dem Leichnam hoch zu Berg.

Da strich der Führer kräftig mit der scharfen Peitsche kreuz und quer über sie. Sie hoben die Köpfe; halb in Rausch und Ohnmacht; sahen die Araber vor sich stehen; bekamen jetzt die Peitsche mit den Schnauzen zu fühlen; zogen sich im Sprung zurück und liefen eine Strecke rückwärts. Aber das Blut des Kamels lag schon in Lachen da, rauchte empor, der Körper war an mehreren Stellen weit aufgerissen. Sie konnten nicht widerstehen; wieder waren sie da; wieder hob der Führer die Peitsche; ich faßte seinen Arm. "Du hast recht, Herr", sagte er, "wir lassen sie bei ihrem Beruf, auch ist es Zeit aufzubrechen. Gesehen hast du sie. Wunderbare Tiere, nicht wahr? Und wie sie uns hassen!"

ДЛЯ ЗАМЕТОК



אשכולות
אשכולות
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
www.eshkolot.ru



GENESIS
PHILANTHROPY
GROUP